

Андрей Седых

**ЗВЕЗДОЧЕТЫ
С БОСФОРА**

НЬЮ-Йорк
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Андрей Седых

**ЗВЕЗДОЧЕТЫ
С БОСФОРА**

НЬЮ-ИОРК

ТОГО ЖЕ АВТОРА

- Старый Париж.** — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. С иллюстрациями Б. Гроссера. Распродано.
- Монмартр.** — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1927 г. С иллюстрациями Б. Гроссера. Распродано.
- Париж ночью.** — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева. Распродано.
- Там, где жили короли.** — Изд. Я. Поволоцкого. Париж, 1930 г. Распродано.
- Там, где была Россия.** — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г. Распродано.
- Люди за бортом.** — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г. Распродано.
- Дорога через океан.** — Изд. «Нового Журнала», Нью Йорк, 1942 г.
- Звездочеты с Босфора.** — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Обложка Р. Ван-Розена. Распродано.
- Сумасшедший шарманщик.** — Нью Йорк, 1951 г. Обложка Л. Михельсона.
- Только о людях.** — Нью Йорк, 1955 г. Издание «Нового Русского Слова».
- Далекie, близкие.** — Воспоминания. Нью Йорк, 1962 г. Второе издание.
- Замело тебя снегом, Россия.** — Рассказы. Очерки «Под небом Испании». Издание «Нового Русского Слова», Нью Йорк 1964 г.
- Земля Обетованная** — Очерки. Обложка Мане-Каца. Оформление Маргариты Гарвиной. Издание «Нового Русского Слова, Нью Йорк 1966 г.
- This Land of Israel.** Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. The Macmillan Company, New York; Collier—Macmillan Ltd. London, 1967.

Copyright © 1948 by the Author

Издание второе 1973

По старой дружбѣ, Андрей Сьдыхъ написалъ мнѣ, что издаетъ книгу своихъ новыхъ рассказовъ, а вмѣстѣ съ письмомъ прислалъ дубликатъ ея корректурныхъ гранокъ, прося меня сказать ему «откровенно, по секрету», что я думаю о ней, и, зная его талантливость, я прочелъ ее немедленно и съ такимъ удовольствіемъ, что рѣшилъ высказаться не «по секрету», а гласно, небольшимъ предисловіемъ къ ней.

Я вспомнилъ все мое знакомство съ Андреемъ Сьдыхъ какъ съ писателемъ и человекомъ. Первые его писанія, ставшія извѣстными мнѣ, — во времена, теперь уже далекія, — были его отчеты въ парижскихъ «Послѣднихъ Новостяхъ» о засѣданіяхъ французскаго парламента, мало для меня интересные, составляемые, конечно, наспѣхъ, съ неизбежными шаблонами на французскій ладъ («на трибуну поднимается такой-то . . .»); тутъ меня заинтересовалъ только слухъ о томъ, что Андрей Сьдыхъ человекъ веселый, бойкій, находчивый; кричитъ на него, напримѣръ, въ редакціи «Послѣднихъ Новостей» ~~открытый~~ крикунъ А. А. Поляковъ: «До чего, чертъ въсь возьми совсѣмъ, валяете вы отчеты какъ попало!», а ~~тогда~~ ему въ отвѣтъ: «А вы что-же, хотите, чтобы я за 25 сантимовъ построчныхъ переписывалъ свои отчеты по сто разъ, какъ Левъ Толстой свои романы и рассказы?» Поэтому я впервые прочелъ его полубеллетристическіе раз-

сказы о жизни въ Парижъ низинтъ словъ русской эмиграціи, его книгу «Люди за бортомъ», — и былъ даже удивленъ: такъ отлично написана была она, такъ легко, свободно, разнообразно, безъ единого фальшиваго слова, съ живыми лицами, съ присущимъ каждому изъ нихъ языкомъ. Тутъ уже явно сказались особенности Андрея Съдыхъ: его юморъ, живость, умънье схватывать на лету все, что попадаетъ въ поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченнымъ . . . В тѣ нобелевскіе дни, когда онъ былъ моимъ секретаремъ и ѣздилъ со мной въ Стокгольмъ, я сталъ даже побаиваться этихъ его способностей. Вотъ, напримѣръ, утро того дня, когда я долженъ принять изъ рукъ шведскаго короля нобелевскій дипломъ и отвѣтить ему благодарностью, и я шутя вздыхаю и говорю: «Охъ, Боже мой, напрасно я жилъ въ Парижъ въ отелъ «Мажестикъ», боюсь, что нынче брякну королю отъ смущенія вмѣсто *Votre Majesté* — *Votre Мажестикъ!*», а черезъ нѣсколько дней послѣ этого въ ужасъ хватаюсь за голову, получивъ изъ Парижа «Послѣднія Новости» съ очередной телеграфной корреспонденціей Андрея Съдыхъ о моей жизни въ Стокгольмъ, кричу ему: «Разбойникъ, что же это вы со мной дѣлаете! При васъ слова нельзя сказать! Вотъ вы уже и это телеграфировали — мою дурацкую шутку насчетъ «Мажестика»! Неужели вы не понимаете, что́ это будетъ, если шведы, люди строгіе, узнаютъ про нее, про то, что она попала въ печать!» А онъ въ отвѣтъ только пожимаетъ плечомъ: «Что значитъ — дурацкая? Никакая хорошая шутка не можетъ быть дурацкой. И нѣтъ ровню ничего обиднаго для шведовъ въ вашей шуткѣ. Главное же то, что скучный журналистъ достоинъ висьлицы, къ

которой я еще не имю ни малѣйшей склонности». Зато въ другихъ отношеніяхъ былъ онъ секретаремъ хоть куда. Сколько давалъ за меня, замученнаго, беспѣдъ со всякими иностранными газетчиками, какъ рѣшительно расправлялся съ грудами писемъ, что я получалъ отъ несмытныхъ поздравителей и просителей, какъ ловко и спокойно выставлялъ за порогъ всякихъ «стрѣлковъ», осаждавшихъ меня въ «Мажестикъ»! Въ тѣ часы, когда онъ отсутствовалъ, я часто сидѣлъ, запершись на замокъ, и не даромъ: бывали «стрѣлки», обладавшіе удивительнымъ нахрапомъ, анекдотическимъ безстыдствомъ. Однажды сидѣлъ я вотъ такъ, подъ замкомъ, не отвѣчая на стукъ въ дверь. Раздается наконецъ стукъ настолько крѣпкій, требовательный, что я подхожу къ двери:

— Кто тамъ?

— Отворите, господинъ Бунинъ, — отвѣчаетъ грубый, простонародный басъ. — Намъ нуженъ личный разговоръ по очень важному дѣлу.

— Кому намъ?

— Мнѣ и моимъ товарищамъ.

— Я нездоровъ, никого не принимаю, долженъ лежать въ постели.

— Не стѣсняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да въ чемъ дѣло?

— Дѣло въ русской національной цѣнности, которую вы обязаны по своему положенію лауреата приобрести, чтобы она не попала въ руки кровавыхъ кремлевскихъ палачей.

— Что за цѣнность?

— Топоръ императора Петра Великаго. Его личная

собственность съ государственнымъ сертификатомъ и приложениемъ печати.

— Вы, кажется, не въ своемъ умѣ. Какой такой торпозъ? Очевидно тотъ самый, какимъ Петръ прорубилъ окно въ Европу?

— Этимъ не шутятъ, господинъ Бунинъ! — уже съ угрозой, съ хамской мрачностью возвышаетъ голосъ мой собесѣдникъ за дверью. — Не имѣете права шутить. Это священная национальная цѣнность. И только въ виду этого уступаемъ всего за пятьсотъ франковъ съ ручательствомъ . . .

Съ тѣхъ поръ прошло почти пятнадцать лѣтъ. Андрей Стѣдыхъ издалъ въ Парижѣ еще нѣсколько книгъ, потомъ сталъ американцемъ, прислалъ мнѣ недавно свой фотографическій портретъ: сидитъ, уже въ очкахъ, серьезный, за письменнымъ столомъ, что-то пишетъ . . . На дняхъ получаю «Новое Русское Слово», читаю его рассказъ «Миссисъ Катя Джэксонъ» — и качаю головой: это только передача рассказа Кати, русской дѣвушки, неожиданно ставшей англичанкой, о томъ, что она пережила въ нѣмецкомъ плѣну, а послѣ плѣна — передъ грозившимъ ей, какъ и многимъ, многимъ другимъ, возвращеніемъ въ Россію, во избѣжаніи чего многіе изъ этихъ многихъ «запирались въ своихъ баракахъ, когда за ними пріѣзжали на грузовикахъ красноармейцы, тѣли «Со Святими упокой», перерывали себѣ вены или лезли въ петлю»; это передача одного изъ тѣхъ рассказовъ, что мы, по справедливому замѣчанію самого Андрея Стѣдыхъ, «уже тысячу разъ слышали и читали», но я всетаки качаю головой съ навернувшимися на глаза слезами: какъ передано! Въ передачу такихъ рассказовъ одно единственное не-

впрное, лишнее, пошлое слово можетъ погубить все дѣло, все впечатлѣніе отъ разсказа, не взирая на все его ужа-сающее умъ и душу содержаніе. А вотъ Андрей Сьдыхъ затуманилъ мнѣ глаза, ни единымъ звукомъ не оскорбилъ моего писательскаго, теперь, по моему великому писа-тельскому опыту, уже «абсолютнаго слуха» . . .

А сейчасъ передо мной цѣлый сборникъ его новыхъ разсказовъ. Какъ почти во всякомъ такомъ сборникѣ, разсказы и тутъ не равноцѣнны, конечно. Но то, что цѣнно, — по главному признаку таланта, то есть опять таки по свободѣ, присущей писаніямъ Андрея Сьдыхъ, по легкости и неподдѣльной простотѣ, съ которой онъ «передаетъ» когда-то пережитое свое и чужое, — опять заставляетъ меня качать головой, на этотъ разъ уже ве-село: какой молодецъ этотъ американецъ въ очкахъ, такой будто серьезный, а на дѣлѣ, во многихъ разсказахъ, все еще какъ будто прежній, бойкій сотрудникъ А. А. Поля-кова и мой секретарь! И какая художественная памят-ливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!

Новые разсказы Андрея Сьдыхъ безхитростны, не претендуютъ поражать читателя, большинство ихъ ра-дуется своей шутливостью и изобразительностью. Два прекрасныхъ разсказа — «Миссисъ Катя Джэксонъ» и «Пашино счастье» — выдѣляются въ его новой книгѣ какъ нѣчто совсемъ особое среди того, что преобладаетъ въ ней. Преобладаетъ другое, шутливое, безпечное, жи-вописное: это — «Звѣздочеты съ Босфора», затѣмъ крым-скіе, черноморскіе разсказы — «Бартыжники», «Хайтар-ма», «Гидра», «Чебуреки» — и наконецъ «Мой легионеръ» и «Парадъ, аллэ» — этотъ послѣдній о циркѣ. Тутъ все

чуждено именно по своей непритязательности и жизненности, а кроме того и по тому, что я назвал «лингвистикой» Андрея Съдыхъ, то есть по богатству говоровъ, жаргоновъ, которыми въ такомъ совершенствѣ, такъ безошибочно, такъ точно владѣетъ онъ, рассказывая о крымскихъ татарахъ и грекахъ, о портовыхъ босякахъ и о людяхъ на морскихъ грузовикахъ вроде «Гидры», объ острожникъ Сенькѣ Бараданчикѣ, о французскомъ легионерѣ, подольскомъ крестьянинѣ, ухитрившемся безъ всякихъ паспортовъ и пропусковъ сходить въ «советскую» Россію и благополучно оттуда возвратившемся, — «але е ретуръ, по нашему, легионному», — о цирковыхъ борцахъ («чемпионъ Украины Стыцура», «дитя волжскихъ степей чемпионъ Поволжья Рыбаковъ», «чемпионъ Черноморскаго флота, пропившійся морякъ Посунько», чемпионъ Грузіи Шота Чалидзе съ его утрированнымъ акцентомъ: «хачу баротья! арбитръ, давай минэ баротья Абдулаева!») . . . Я тринадцать разъ былъ в Константинополѣ и могу сказать тоже безошибочно, какъ живо далъ мнѣ почувствовать Андрей Съдыхъ въ своихъ «Звѣздочетахъ» то трудно передаваемое, что присуще Константинополю; я хорошо знаю Крымъ, Черное море, не мало плавалъ даже и на грузовикахъ вроде «Гидры» — тоже могу сказать объ искусствѣ Андрея Съдыхъ и въ этомъ случаѣ; и циркъ ему удался не хуже Куприна, даже лучше, по моему . . .

Впрочемъ, пора кончить — чтобы не пережалить его.

17.3.1948

Приморскія Альпы

Ив. Бунинъ

ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА

МЫ жили в Константинополе уже третий месяц, без денег и без дела, целыми днями слоняясь по городу в поисках добычи. Мы были непростительно молоды и не унывали, — до двадцати лет все, кроме голода, переносится необычайно легко. По вечерам мы сходились в узенькой зловонной улочке, неподалеку от Юксек-Калдерима. Там был греческий ресторан, и всякий раз, когда мы появлялись на пороге, хмурые и голодные, хозяин Коста встречал нас зычным и приветливым окликом: — Ористи!

Он делал при этом гостеприимный восточный жест, — все его роскошные блюда были приготовлены только для нас и ждали именно таких как мы знатоков и ценителей греческого кулинарного искусства. Когда знатоки и ценители недоверчиво подходили к плите и начинали инспекцию, Коста отступал на шаг назад и скрещивал свои пухлые и волосатые руки на груди. В эти минуты он напоминал Наполеона на поле Аустерлица.

Над жаровней с древесным углем медленно

вращался на вертеле шашлык из молодого барашка. На противне, подернутые янтарным соусом, лежали фаршированные перцы и баклажаны. Скумбрия нежилась на блюде, обложенная помидорами, покрытая ломтиками лимона и посыпанная рубленым укропом. Мы благоговейно вдыхали эти запахи, нерешительно составляли и переделывали меню, что-то подсчитывали в уме. Чтобы развеять наши чревоугоднические инстинкты, Коста внезапно срывал с плиты шумпур с шашлыком и торопливо, больше ни о чем не спрашивая, начинал выкладывать его на тарелку и посыпать луком.

После второй рюмки зеленоватого, мутного дузика мы пьянели. Все становилось легко и понятно. На улице шарманка играла марш венизелистов. Коста приносил чашечки крепкого и сладкого кофе, угощал нас курабьей, а я начинал уверять, что торговля французской «Брачной Газетой» на пароходиках, которые целый день снуют по Босфору, из Галаты в Скутари, — очень приятное и доходное дело, имеющее большое будущее.

Я извлекал из кармана мятые бумажные лиры и медные пиастры, раскладывал по столу мою дневную выручку, но Захарьянц и Яшка Курчавый, прозванный так потому, что у него не было на голове волос, смеялись и говорили, что нужно быть сумасшедшим: сорок раз в день переезжать на пароходиках из Европы в Азию, с одного берега Босфора

на другой, только для того, чтобы заработать четыре лиры!

— Швыбзик, говорили они ласковым и поучительным тоном, швыбзик, — ты не уедешь далеко на твоей «Брачной Газете», предназначенной для сладострастных турок. Надо проявить игру ума.

Из игры ума ничего путного не выходило. Проекты были все грандиозные, один лучше другого, но пока что, в ожидании громадных заработков, за обед у Косты приходилось расплачиваться моими скромными лирами газетчика.

Насытившись и наговорившись вдоволь, мы выходили из душного рестораника на воздух и медленно шли по лестнице вниз, к морю. Наступала южная ночь, вокруг сновала шумная, говорливая толпа. Звучала музыка, в публичных домах бойко бренчали механические пианино, и женщины в розовых, несвежих комбинезонах высывались из окон и на всех языках мира зазывали к себе прохожих.

Мы спускались на набережную, у которой были пришвартованы фелюги с собранными, мертвыми парусами. Лодочки лениво возлежали на узеньких матрацах, которыми были покрыты скамьи на корме, поджидая богатых клиентов. Мы не были богатыми клиентами. На мне висело широкое, непромокаемое пальто и был котелок, налезавший на самые уши, — на таких людей лодочки не обращали внимания.

На нашем берегу была уже ночь, но по ту сто-

рону Золотого Рога в небе разливалась нежно-зеленоватая акварель и черной тушью на нем оттенялись купола и минареты мечетей. И вся эта экзотическая красота казалась не настоящей, а какой-то затейливой, немного слащавой, театральной декорацией.

Мы долго сидели на набережной, поджидая наступления полной темноты. И глядя в небо, на голубые, мерцающие звезды, никто из нас не думал, что очень скоро странная судьба свяжет нас с этими далекими мирами.



Однажды вечером мои приятели пришли к Косте раньше обычного, волоча за собой треножник фотографа и какую-то продолговатую черную коробку.

Вид у них был торжественный и взволнованный.

— Швыбзик, сказали они, обнажи голову перед этими научными инструментами. Мы живем в век Фламариона и кометы Галея. Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Признаюсь, я сначала решил, что они успели перехватить по дороге рюмку дузика.

Но вскоре стало ясно, что они трезвы, находятся в здравом уме и полной памяти, и что надвигаются большие события. Коробку открыли. Внутри лежала подзорная труба, вероятно проданная каким то за-

гулявшим моряком в комиссионный магазин. Труба была старая, потертая, выдавшая виды.

Приятели раскрыли ее и при помощи куска проволоки и обрывков бичевки стали прилаживать инструмент к треножнику. Когда все было готово, они отступили назад с видом артистов, любующихся своим детищем, а Захарьянц в мистическом экстазе прошептал:

— Телескоп! Пулковская обсерватория в центре Константинополя... Волшебнo!

Я все еще не соображал, в чем дело, — временами мне казалось, что оба слегка рехнулись. Только много позже я понял, что великие люди редко получают признание при жизни. Через минуту мы были уже на улице и несли подозрную трубу на треножнике по направлению к Гранд Рю де Пера. Дойдя до площади мы остановились и взглянули на небо.

Была великолепная, лунная ночь.

Не знаю, что испытывают участники научной экспедиции, взобравшиеся на Эверест, наблюдать лунное затмение. Но мы испытали в ту минуту, когда установили наш треножник и направили объектив в сторону луны, страшное волнение.

И как ни дрянна была наша труба, лунный шар вдруг приблизился, сделался большим и ярким. Очертания материков и морей стали резче, отчетливо обрисовались лунные кратеры... Мы так были поглощены изучением лунной поверхности, что не

заметили, как к нам подошли два щеголеватых турка.

— Турча белюрсем? спросили они.

— Турча бельем! ответили мы, мотнув головой сверху вниз, как заядлые турки. Узнав, что мы не говорим по турецки, они перешли на константинопольско-французский язык и спросили, что это за труба?

— Это не труба, обиженно ответил Яшка. Это телескоп.

Турки недоверчиво осмотрели наш «телескоп», но любопытство взяло верх, и они спросили, что мы видим?

— Луну, ответил вдохновенно Яшка, луну, покровительницу всех правоверных!

И тоном профессионального лектора он начал:

— Мы присутствуем сейчас, джентльмены, при четвертой стадии луны, которая дает вам возможность рассмотреть в наш телескоп главнейшие лунные материки, моря, кратеры и трещины... В северной части лунного диска вы увидите 14 черных пятен, именуемых морями, хотя воды на лунной поверхности нет. Внизу, у Южного полюса, расположена самая высокая гора на луне, гора Лейбница, высотой в 7.600 метров. Особой красотой отличается цирк Клавиуса, имеющий в диаметре 210 километров. Период образования гор на лунной поверхности относится...

Мы слушали и не верили своим ушам: где, в ка-

ком учебнике, в каком энциклопедическом словаре набрал этот мерзавец свои знания по астрономии? На турок эрудиция Яшки произвела потрясающее впечатление.

— Сколько стоит посмотреть на луну?

Коммерческая сторона дела еще не была разработана. Вопрос захватил нас врасплох. Но директор пушковской обсерватории не задумываясь, ответил:

— Беш пиастр! Беш!

Турки вынули по пяти пиастров и протянули их астроному. С видом оскорбленного величия он ответил:

— Джентльмэны, я даю лишь сухие научные объяснения. Прошу вручить деньги кассиру!

И он презрительно ткнул пальцем в мой котелок, который немедленно сполз мне на уши.

Турки прилипли к объективу. Пока они любовались луной, к нам подошли три американских матроса в белых шапочках, — Константинополь был в это лето полон союзными моряками. Матросам пришлось стать в очередь, чтобы поглядеть на луну. Через час в хвосте уже стояло два десятка человек, и мы оказались заняты по горло.

Научный работник говорил без усталости, проявляя бездну эрудиции, и даже пытался в популярной форме разрешить вопрос о возможности жизни на луне. Второй компаньон наблюдал за порядком в очереди, а кассир хищнически взимал плату.

Было уже очень поздно, когда мы кончили работу и поплелись по Юксек-Калдериму. Коста был давно закрыт, погасли вывески кинематографов, на улицах попадались только редкие прохожие, но под пожарной башней мы нашли кофейню, где сонные турки докуривали наргилэ и играли в домино, и где можно было еще получить кофе и ледяную султанскую воду «саук-су».

Карманы были набиты лирами и пиастрами. Бумажки сыпались из меня, как из рога изобилия, — никогда больше в жизни я не чувствовал себя таким безгранично богатым, как в ту ночь... Расходы по оборудованию пулковской обсерватории были полностью покрыты. Мы выручили в первый же раз больше, чем стоила вся подзорная труба и треножник фотографа.

— Завтра, говорил мечтательно Яшка, завтра дело будет поставлено по американски. Нам нужно даже внешне быть похожими на астрономов, а то у нашего кассира в его непромокаемом пальто и котелке вид мазурика, а не научного работника. Предлагаю на голосование две резолюции: «Резолюция первая. Научным работникам передвижной константинопольской обсерватории присваивается форма — бархатный берет с нашитыми серебряными звездами». Резолюция вторая: «На ежедневное довольствие астрономов отпускается повышенная дотация в размере трех лир с обязательным включением в

меню двойной порции баклавы». Возражений нет? Принято!

— Я ходатайствую об отпуске мне аванса на покупку желтых ботинок, нерешительно сказал Захарьянц. Я видел в окне одну пару. Волшебно!

Наступило зловещее молчание. Яшка Курчавый прищурился и спросил:

— Быть может, достопочтенный джентльмэн из Галаты желает также приобрести за казенный счет увеселительную яхту?

Мы долго мечтали в эту ночь.

Мы мечтали о том, что накопим много денег, купим себе фальшивые паспорта и уедем куда-нибудь подальше из этого проклятого города, переполненного оборванными русскими, от всей нестерпимой константинопольской жизни и невыносимого безделья.

Мы мечтали до тех пор, пока в нижней части города не начался пожар. Из башни, у которой мы сидели, выбежали с воплями и криками босоногие люди, в одном нижнем белье, с игрушечной помпой на плечах. Это были константинопольские пожарные.

— Смотаемся на пожар? нерешительно предложил Захарьянц.

— Пожар кончился, ответил Яшка. Пока эти в кальсонах добегут, дом все равно сгорит до тла.

И мы поплелись спать.

**
*

Стояли безоблачные дни и прозрачные, синие ночи.

Мы тихо богатели и даже раздобыли где-то книжку с биографией американских миллионеров. По книжке выходило, что все миллионеры начали с торговли газетами на Бродвее или были в юности чистильщиками сапог. Таким образом, мы находились на правильном пути... Впрочем, я вскоре бросил торговлю газетами на пароходиках и всецело посвятил себя астрономии.

Днем мы наслаждались жизнью. Бродили по крытым, прохладным базарам, где тучные люди с миндалевидными глазами торговали фесками, козлиными чувяками, шитыми золотом, ароматическими куреньями и рахат-лукумом. Попрежнему жарко палило солнце, но лето уже проходило. Мы заметили это по лоткам фруктовых лавок. Давно исчезли арбузы, появился тяжелый и сладкий смирский виноград, над которым роем вились пчелы. Потом пошла осенняя башмала, кровавые гранаты и сухие рожки. И однажды мы заметили, что небо над Босфором стало особенно синим, на теневой стороне улиц — прохладно, и что турки начали готовиться к Рамадану.

О наступающей осени думать не хотелось; дела наши шли превосходно. Мы стали своего рода ночной достопримечательностью Перы. Ни один гуляка

не проходил мимо телескопа, чтобы не посмотреть на луну и не выслушать оригинальную теорию Захарьянца о будущих междупланетных сношениях, сильно напоминавшую Жюль Верна.

За лето мы отъелись, раздобрели и даже обзавелись имуществом. Яшка купил себе велосипед с какими то необыкновенными тормозами и ацитиловым фонарем у руля. Вскоре, однако, выяснилось, что в Константинополе очень трудно ездить на велосипеде; улицы вымощены неровным булыжником, всюду лестницы, и каждый день Яшке приходилось тащить велосипед на своей спине, поднимаясь по Юксек-Калдериму. В общем, он был мучеником идеи.

У Захарьянца появились остроносые желтые ботинки, предмет давних вождедений, и посох с серебряным набалдашником, — продавался он так дешево, что жаль было упустить выгодный случай. Когда Захарьянец шел по улице, важно опираясь на свой посох, мальчишки принимали его за армянского католикоса в штатском и корчили вслед рожи.

Я давно расстался с непромокаемым плащем и котелком и купил в комиссионном магазине дьявольски элегантное черное пальто с шелковыми отворотами и сфотографировался в этом виде.

В общем, мы чувствовали себя баловнями судьбы и беспутными прожигателями жизни.

Катастрофа наступила неожиданно.

В ноябре начался норд-ост. Задул ледяной, ко

лючий ветер. Небо покрылось тучами. Наступил сезон дождей. Дождь шел дни и ночи, хлестал по пустынным улицам, превращая их в горные потоки, унося в море все летние отбросы города... На Босфоре густой, белой пеленой стоял туман.

Мы смотрели в окна и видели всегда один и тот же унылый и отсыревший фасад дома через дорогу. Улица была такая узкая, что казалось — достаточно высунуть руку, чтобы коснуться этой облупленной, жалкой стены. И от одного вида этой стены, от восточных ее окон с железными кованными решетками, как в средневековой тюрьме, хотелось выть от тоски. Временами нам начинало казаться, что всемирный потоп начался именно здесь, в Константинополе, точно таким, омерзительным, непрерывным дождем, что дождь этот никогда не кончится, и что никогда больше мы не увидим чистого неба, усыпанного звездами и нашу кормилицу луну.

Мы ходили к хозяину квартиры, еврею-эспаньолу и спрашивали его, когда погода переменится? Он смотрел на нас грустными глазами, цокал языком, мотал головой снизу вверх и сверху вниз и тяжело вздыхал. У него была вечно больная жена и куча прожорливых ребятишек, которые без спроса забирались в нашу комнату и мешали нам жить.

Три недели мы ждали конца дождей и чистого неба.

Персонал пулковской обсерватории впал в уныние. Капиталы быстро таяли. На четвертую неделю

за пятьдесят турецких лир я купил визу в Италию и бумагу о том, что являюсь «Протэтто спечиале италиано». Сознание, что мне специально протезирует итальянское королевство, преисполнило меня гордостью и чувством собственного достоинства. И еще через два дня я распрощался с компаньонами и, под проливным дождем, сел на судно, шедшее через Пирей в Неаполь.

Под вечер наш пароход вышел из Босфора в Мраморное море. Еще через час ветер спал и дождь прекратился.

Ночью на безоблачном небе сияла полная, великолепная, насмешливая луна.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ УМЕРЕТЬ

ЭТО случилось много лет назад, в Париже. Вечерняя газета «Пари-Суар» была прочитана и уже готовилась к полету в корзину, когда в отделе писем в редакцию мне случайно бросилось в глаза фантастическое обращение к читателям:

Помогите мне умереть!

«Моя просьба, вероятно, покажется вам странной. Но я, действительно, хочу, чтобы вы помогли мне умереть. Я не сумасшедший. Я вполне нормальный человек, но попал в тупик, из которого только один выход: смерть.

Решение мое принято окончательно. Но покончить самоубийством просто, спокойно, как все, — я не могу. Этот способ мне противен. Я хотел бы, умирая, сделать что-либо полезное. Есть ученые, врачи, исследователи, даже инженеры, которым нужны люди, не дорого ценящие свою шкуру.

Я для них самый подходящий человек. Через посредство вашей газеты я предлагаю себя для любого дела, по возможности самого опасного, — лишь бы оно было честным.

Добавлю, что я не ищу авантюры, а только освобождения от жизни».

Следовала подпись, — простое, незамысловатое русское имя, и адрес. Читатель не взыщет, если я заменю его вымышленным. Ну, скажем, Иванов. Такие письма печатаются в газетах не часто. Кто он, этот Иванов? Действительно ли человек, решивший умереть с пользой для человечества, или попросту ловкач, пожелавший обратить таким путем на себя внимание, вызвать к себе жалость, интерес? В том и другом случае дело было занятым.

На следующий день я отправился по указанному в письме адресу:

**

Когда я назвал имя Иванова, консьержка вздрогнула и окинула меня инквизиторским взглядом. Конечно, она уже читала «Пари-Суар», или ей рассказал о письме кто-нибудь из жильцов. Вот он, человек, несущий смертоносное предложение мосье Иванову. Какой скандал в тихом, буржуазном доме, в котором вдруг обнаружен кандидат в самоубийцы, еще объявляющий об этом в газетах!

— Первый этаж. Дверь направо.

Я позвонил. Открыл человек лет тридцати, в очках. У него был тихий голос, потухший взгляд, печальное, усталое лицо. Мне не нужно было даже справляться об имени моего собеседника. Конечно, это был человек, ради которого я пришел.

Мы вошли в комнату, уселись друг против друга. Наступило неловкое молчание. По виду Иванов производил впечатление совершенно здорового человека. Следовательно, решение о самоубийстве не было им принято под влиянием тяжелой или хронической болезни.

Молчал я, молчал и Иванов, тщательно рассматривавший носки своих ботинок. Начало разгадки дали именно его ботинки: в такой обуви ходят только безработные. Значит — нужда?

— Все вместе, ответил он. И нужда, и другое. Это очень сложно.

— Решение принято вами бесповоротно?

— Да. Но поймите меня. Я человек верующий и не желаю наложить на себя руки. Я хсчу умереть с пользой для других. Предоставить себя для научных опытов, например...

— Вы отлично понимаете, что ни один ученый не примет вашего предложения, не имеет права его принять. Независимо от вашего согласия, он все равно совершит преступление. Вы, вероятно, получили уже много писем?

— Около пятидесяти.

— И в них, конечно, нет ни одного «интересного» предложения?

Иванов не без смущения признался:

— Ни одного. Два человека предлагают мне убить Гитлера. Есть письма от сумасшедших, от неврастеников и будущих самоубийц, от женщин, желающих выйти замуж, от миссионеров, приславших евангельские брошюрки, и просто от добрых людей, советующих вернуться на путь истины... Впрочем, вот они, эти письма. Среди них есть интересные... Читайте.

И он протянул мне толстую пачку писем.

**
*

Твердый мужской почерк:

«Милостивый Государь!

Ваше письмо в «Пари-Суар» нисколько не кажется мне странным. Я вполне вас понимаю и сам бы хотел покончить жизнь избранным вами способом.

Мне 34 года. 17 лет я проработал в одном и том же деле. Теперь оно прогорело и я остался без работы. Все двери предо мной закрыты. Жизнь вызывает одно отвращение. Я потерял к ней всякий вкус.

Вы получите, вероятно, много предложений. Окажите товарищескую услугу и перешлите мне одно из предложений, которым вы сами не воспользуетесь. Это будет с вашей стороны добрым делом.

Всей душой ваш...»

Голубой конверт. Косой, размашистый женский почерк. Штемпель из Лиможа.

«Как странна ваша просьба! Стары ли вы? Молоды? Для чего умирать, когда вся жизнь еще впереди?»

Если бы я лично знала вас, мне кажется, я поняла бы ваше горе и могла бы вас утешить. Я — маленькая женщина, молодая. Говорят, я красива. Два года назад я вышла замуж за человека, который заставил меня страдать. Теперь мы расстались. Я одинока, и все же не теряю надежды. Вот почему, читая ваше письмо, я плакала. Мужайтесь! Мне кажется, я смогу вас спасти и сделаю это от всего сердца. Я создана для того, чтобы понимать чужие страдания, — я сама слишком много настрадалась».

Бедная маленькая женщина из Лиможа... Она так и не получила ответа на свой призыв...

Дальше я прочитал письмо, написанное синим, химическим карандашом:

«Гражданин — кандидат в самоубийцы!

Из вашего письма я заключаю, что вы совершенно свихнувшийся человек и что жизнь вам не дорога. Такие люди могут быть полезны для дела.

Лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это убить... (Здесь было названо имя известного политического деятеля, которого ныне нет в живых) Если нет, то подожди еще немного (корреспондент внезапно перешел на ты и на более фамильярный тон). Смерть, которой ты жаждешь, придет сама,

без посредничества гнилой и подкупленной печати, и все фашисты в твоём роде получают то-же, что и ты».

Потом было письмо ещё от одной дамы, которая предлагала руку, сердце и маленькую ренту. Солдат из Нанси советовал поступить в Иностраный Легион. Редактор какого-то «Международного Бюллетеня» предлагал сотрудничество в его журнале. Чтобы стать сотрудником, нужно было предварительно абонироваться на журнал, а стоило это всего 20 франков, «каковую сумму можно послать международными купонами или чеком на швейцарский банк». Редактор бюллетеня, очевидно, был твердо убежден, что подписка на его журнал и есть то доброе дело, о котором мечтал кандидат в самоубийцы, и после которого он сможет умереть со спокойной совестью и сознанием выполненного долга.

Прочел я и письмо настоящего оптимиста. Написано оно было бойким, корявым почерком, на бланке «Кафэ Дюпон»:

«Мсье, как вы можете видеть по конверту и бумаге, я сию сейчас в угловом кафэ и пью пиво. Очень жалею, что вас нет рядом со мной. Уверю вас, что после второго или третьего стакана, вы переменили бы образ мыслей и стали бы таким же оптимистом, как и я.

Я — холостяк и совершенно одинокий человек. Если бы у меня был дом и семья, я не стал бы, ко-

нечно, писать письма совершенно незнакомым людям и торчать целые дни у Дюпона. Но позвольте, все же, поделиться с вами некоторыми соображениями. Смерть — это, как женщина. Чем больше вы ее жаждете, тем меньше у вас шансов заполучить ее...»

И так — пять или шесть страниц. Потом я прочел письмо, написанное на листке, вырванном из ученической тетради.

«С тех пор, как я прочла ваше обращение, я нахожусь, как в лихорадке, и думаю только о вас. Я уже большая. Родители не позволили бы мне написать вам. Вот почему мне приходится писать тайком, лежа в постели. Умоляю вас — не умирайте! Это так страшно!».

Последнее письмо, которое протянул мне Иванов, было анонимное и написано на машинке.

«М. Г. — Мы с интересом прочли ваше сочинение. Повидимому, вы не вполне нормальны. Если вы действительно хотите покончить счеты с жизнью и оказать человечеству услугу, рекомендуем вам воспользоваться близостью Сены и утопиться.

Вы избавите человечество от круглого идиота и, смеем вас уверить, это очень полезное дело. Примите и пр.

Группа читателей»

Листок задрожал в руках Иванова. Потом он медленно, с натянутой улыбкой сказал:

— Это письмо написала моя жена. Ее выдала бумага, которую я сам же ей подарил...



Теперь у меня был ключ к загадке. Его дало анонимное письмо, настуканное на машинке.

Постепенно, слово за словом, я узнал историю этого неудачника. Он учился, чтобы получить диплом инженера, и за год до окончания должен был бросить школу. Служил, и завод закрылся. Поступил на службу, — и его обманули, не заплатили. Получил от кого-то деньги, — чек оказался без покрытия.

— Знаете, есть такие зыбучие пески. Человек попадает в них, и уже не имеет сил выбраться. Так вся жизнь моя сложилась из одних неудач.

...Единственный раз ему посчастливилось. Он встретил молодую, красивую женщину. Они поженились. И на следующий день после свадьбы жена оказалась врагом, — злым, циничным, беспощадным. Муж узнал, для чего ей нужен был этот брак.

Мы говорили долго, и меня поразило, что ни один из этих людей, откликнувшихся на отчаянный вопль, — по существу людей добрых и чутких, не подошел к человеку без жалких нравоучительных слов, а просто и деловито:

— Может быть, у вас нет куска хлеба? Может быть, вы нуждаетесь в работе?

Через час я уже твердо знал, что он стал кандидатом в самоубийцы поневоле, попал в зыбучие пески только потому, что никто не протянул ему

руку, чтобы из них выбраться. С разрешения Иванова, я подробно описал его историю в русской газете, — нужно было не сочувствие, не евангельские брошюрки и даже не деньги, — а работа, возможность какой-то новой жизни.

Пришли новые письма. Мы разбирали их вместе, — писем было много, и на этот раз тон их был совсем иной. Предложения неожиданные: войти компаньоном в дело по изготовлению раскрашенных от руки шарфов или заняться мытьем автомобилей в гараже.

Мы остановились на письме казака, который звал Иванова к себе на ферму, под Тулузу. Казак звал погостить, отдохнуть, описывал свое не малое хозяйство, — у него было 30 гектаров земли, свиньи, куры, кролики.

«Хозяйки у меня нет, — не успел я обзавестись женой за всеми моими делами, писал он. На праздники приезжают станичники с соседних ферм. Закусываем, выпиваем хорошо — вино у нас свое, — потом до ночи поем песни и вспоминаем про родной наш край, который, может, не придется больше увидеть».

Дальше шла казачья лирика и деловое предложение: если понравится, — остаться на ферме. Лишний работник никогда не помешает.

Иванов уехал на ферму и скоро, в сутолоке парижской жизни, я совсем забыл о его существовании.



Прошло несколько лет. Как-то поздно вечером, когда я приехал в редакцию, мне сказали

— А вас тут давно уже один человек дожидается... Часа три сидит в передней!

Человек встал, протянул дружески руку и, видя мое замешательство, спросил:

— Не вспоминаете? Много воды утекло... Да и изменился я сильно с тех пор... Человек, который хотел умереть...

Тут только я вспомнил Иванова. Он, действительно, сильно изменился, — не то, что помолодел

— люди редко молодеют, — но как-то окреп, поздоровел. Он прожил на ферме все эти годы и под конец стал испольтщиком, обзавелся собственным, небольшим хозяйством.

— Приехал я в Париж со специальной целью. Помните, — вы тогда написали обо мне большую статью? Так вот, я ее так хорошо спрятал, что теперь не могу найти. А статья мне сейчас нужна до зарезу...

— Для чего, собственно? Дело прошлое...

— Для развода. Так сказать, вещественное доказательство.

Признаюсь, — я страшно удивился. Какое доказательство?

— Ведь все мои несчастья пошли от жены. Теперь я задумал с ней развестись. И ваша статья будет

в суде доказательством того, как плохо мне тогда было, и до какой степени отчаяния довела меня эта женщина...

Собственно, на этом можно закончить всю историю. Мы порылись в комплекте и нужную ему статью нашли. А еще через несколько месяцев я получил по почте карточку: Мсье Иванов извещал меня о предстоящем своем бракосочетании с какой-то мадемуазель Ивоннь Бернье и просил «почтить своим присутствием».

Надеюсь, что человек, который хотел умереть, до сих пор жив и счастлив.

ПАШИНО СЧАСТЬЕ

ПРИЕХАЛА Паша из России весной 1913 года, с господами. Была она в это время на сносях, но в Париж ее все-таки взяли, — уж очень к ней привыкли господа, да и Паша была прислугой преданной, незаменимой. А однако, колебались:

— Ну, куда ее такой везти? Ей рожать надо, а не путешествовать по заграницам!

Но барыня заупрямилась:

— Не могу я с французской прислугой сговориться. И в Париже родильные дома есть... А с Пашей я не расстанусь.

Так и поехали — всем домом. Не понравилось Паше в Париже на первых порах. Без языка трудно, да и совестно на улице с животом показываться, — все кажется, что люди смотрят. Замечают. В автобус войдешь, — два, три человека с места срываются — усаживают. Вежливые они, а все-таки совестно... Да и недолго пришлось по Парижу разгуливать, — пришли роды, надо было в клинику ложиться. Мальчик родился.

Очень с ним Паша намучилась. Грудью кормила,

не спала по ночам, — все прислушивалась, — не плачет ли? Была у нее отдельная комнатка, в самом конце коридора, — раньше там бельевая помещалась. А все-таки детский плач в квартире слышен, господ беспокоит. Домой они из театра возвращаются поздно, и встают только часам к двенадцати; не дай Бог, Алешенька плачем разбудит!.. Первое время барыня ребеночком интересовалась, — все приходила на него посмотреть. Ванночку ему специально купила, шелковое одеяло, пеленки разные. Ну, а потом, конечно, стала забывать. А иногда и рассердится:

— Что же это, Паша, вас дозвониться нельзя! Где вы там пропадаете?

И ведь хорошо знает, что около ребеночка, — да где ей понять, у самой детей не было. Трудно стало Паше. Ночью не спит, а днем все работает, убирает, за барыней ходит. Прямо из сил выбилась. Тут одна знакомая посоветовала ребенка кормилице отдать на воспитание. Подумала Паша, спросила у барыни, а та говорит:

— Я и сама хотела вам, Паша, сказать... Вы уж лучше отдайте. Француженки за детьми хорошо ходят, стоить это будет недорого, а в выходной день вы всегда сможете сына повидать.

Так и попал Алеша к кормилице, консьержке с улицы Шаронн. Звали ее мадам Легра. Славная была женщина, сама имела двоих детей и держала их в чистоте. Условились, что будет кормилица

получать 30 франков в месяц, — тогда была такая цена.



В июле 1914 года в Париже стояла страшная жара. Господа решили уехать до осени в Швейцарию. В Париже жили своим хозяйством, квартиру большую снимали около Трокадеро, а в Швейцарии решили в отеле поселиться. Стало быть, и прислуга не нужна. Кухарку совсем отпустили, а Паша хотела в Россию съездить, — муж там у нее остался, родные. И условились так: съездит Паша в Россию, а к сентябрю вернется обратно.

Сыночка, конечно, в Париже оставила. Не возить же такого маленького по железным дорогам? Шутка ли сказать, — туда дня четыре езды, да и обратно столько же! В выходное воскресенье съездила Паша на рю де Шаронн, попрощалась с сыном и с кормилицей и дала ей за 3 месяца вперед. И еще мелочь какую-то мадам Легра подарила. Очень она была довольна, благодарила.

Уехала Паша в Россию. И не знала, что суждено ей вернуться не скоро, что много горя принесет ей эта поездка в родную деревню... Был август четырнадцатого года, все шло прахом. Мужа послали на фронт. Была война, революция, голод.

Пропал Алешенька. Остался в Париже, у чужой француженки. Писала Паша мадам Легра, да ответа

не получила. Может, письмо пропало, а, может, обиделась кормилица, что денег не прислала. А деньги в те времена посылать нельзя было, — да и какие уж тут были деньги. И от господ больше известий Паша не получала. Должно быть, где-то в Швейцарии застряли. Всех-то людей война в разные стороны разметала.

Многое было в те годы. Как выбралась Паша из России, — рассказывать долго, да и незачем. Как все эмигранты. Выехала одна, без мужа, без денег. Но до Парижа, все-таки, добралась. Ехала в поезде и все думала о нем, о мальчишке. Десять лет ведь прошло! Как-то он выглядит теперь? Вырос, наверно, совсем большим стал. Должно быть, только по-французски говорит, и мать свою не узнает... Всю дорогу смотрела в окно, плакала и шептала сладкое имя: Алешенька...



С утра, как приехала, бросилась на рю де Шаронн, к сыну. Гостинцы с собой взяла: большую плитку шоколаду и игрушку, купленную еще в Берлине. И, ведь, как заботливо игрушку эту Паша выбирала, как любовно присматривалась к ней еще за две недели до отъезда!

Дом издали узнала. Сердце рукой попридержала, — уж очень оно стучало, гулко и неровно отдавалось в висках. Подбежала к дверям, взялась

за ручку и заплакала от волнения. Здесь он, за дверью!

Сидел в комнате незнакомый консьерж. Старый какой-то, облезлый. Посмотрел недовольно и спрашивает:

— Что вам, мадам, угодно?

— Здесь живут Легра?

А у самой ноги подкашиваются, и поскорей сесть хочется. Уцепилась за спинку стула и повторяет вопрос:

— Мадам Легра, которая была здесь консьержкой...

— Легра нет. Есть Лоран, третий этаж направо. Только он холостяк и торгует на рынке апельсинами.

— Нет, Легра... Мадам Легра с детьми... Она была здесь консьержкой в 1914 году...

Покачал консьерж головой. Нет, не знает он о такой даме. Сам он живет в доме всего второй год. А до него был консьержем мосье Метрие. Да он умер, — вышел как-то на улицу, подмести перед домом, и упал. И вдова его, кажется, умерла вскоре после этого. Бедная женщина не вынесла горя, а ведь какая была работящая...

— Ну, а до Метрие?.. До них ведь была мадам Легра с детьми!

— Нет, о мадам Легра я ничего не слышал. Не знаю такой.

Посмотрел консьерж внимательно. Видит, худо женщине. Дал ей стакан воды, стул подвинул. И стал

расспрашивать, в чем дело? Потом вместе начали думать, как бы разыскать кормилицу? Не может так женщина бесследно пропасть. Наверно, кто-нибудь из старых жильцов знает.

Пошли по квартирам с консьержем. И, вот, подите, — дом старый, французский, в таких домах десятилетиями живут, до смерти, а почти никого не оказалось, кто знал бы мадам Легра. На шестом этаже нашли словоохотливую старуху, самую старую жилицу. И та вспомнила, что мужа мадам Легра убили на войне, кажется, в пятнадцатом году, — как же, она сама ходила покупать ему венки в Базар Отель де Виль! И потом мадам Легра с детьми переехала консьержкой куда-то на Монмартр. Кажется, на рю Нотр Дам де Лоретт. Только номера она не может вспомнить...

**
*

Боже, какая длинная улица Нотр Дам де Лоретт! Идет Паша из номера в номер, из дома в дом. Не здесь ли живет мадам Легра? Может быть, раньше жила? И всем надо объяснить, в чем дело, — консьержки народ любопытный. Ахают, сожалеют, но ничего путного сообщить не могут. Нет, ошиблась, видно, старуха. Не живет мадам Легра на рю Нотр Дам де Лоретт.

Отправилась Паша к домовладельцу с рю де Шаронн. Может быть, у него есть адрес? Домовла-

делец порылся, — вынул какую-то старую папку и нашел в ней копию удостоверения: «Дано сие мадам Легра, Мари-Луизе, служившей в моем доме консьержкой... Уходит по собственному желанию, свободная от каких либо обязательств». И все. А куда уходит — не сказано.

— Помню, говорила она мне, что не может управиться без мужа, и куда-то переезжает... Кажется, к себе в деревню. А может быть, она не сказала мне правду, — не хотела обидеть, и поступила на новое место... Не знаю. Вы лучше в префектуру обратитесь.

Ходила Паша по всем этажам префектуры. Поднималась по бесчисленным лестницам, спускалась вниз, стучалась в разные двери. Нет в префектуре адресного бюро. Посмотрели в какую-то книжку, а там тысячи Легра. Чтобы их всех обойти — человеческой жизни не хватит. Пропал человек, как в воду канул. Пропал Алешенька!

Много ночей проплакала Паша. Пока в России жила, меньше о сыне думала, были другие заботы. А тут — день и ночь о нем мысль, и тоска гложет. Хоть бы знать, что с ним стало, жив ли он? Спасибо, кто-то надоумил, — пошла в ту самую мэрию, где должны были составить акт о рождении. Заглянул чиновник в книгу метрических записей. Показал строку:

— Петров, Алексей... Родился в клинике, такого-то числа... Жив ваш сын, иначе бы в этой графе стояла пометка: скончался такого-то числа. Жив, за

это я вам ручаюсь. А где он, — мы не знаем и знать не можем...

И еще хуже на душе стало. Жив он, сынок. Где-то здесь живет, может быть в самом Париже, рядом... И ведь на улице, если случайно встретишь, не узнать!

Плакала Паша по ночам, убивалась. Из заветной коробочки вынимала маленькую фотографию: стоит она, молодая мать, улыбается и держит на руках своего Алешеньку. Было ему в это время два месяца. А теперь сколько? Считает Паша: десять лет минуло.

**

Считает Паша бессонными ночами: десять лет, двенадцать, пятнадцать... Двадцать! И все живет она в Париже, и Алешенька где-то здесь живет, рядом. Не раз забегала в мэрию, все просила по книге справиться: жив ли?

— Жив.

Слава Тебе, Господи! В последний раз чиновник сказал:

— Сыну вашему теперь 20 лет. Родился он во Франции. Стало быть, — француз. И, значит, должен в этом году отбывать воинскую повинность.

Бросилась Паша к адвокату. Сочинил он письмо к военному министру. Хорошее письмо, все в нем изложил. И опять начала Паша ждать. Не так скоро письма до министра доходят.

Все же — дошло. Как-то утром подают Паше

желтую бумажонку. Открыла и ахнула. Пишут из министерства, что сын жив, служит в одном провинциальном гарнизоне, а в каком, не называют. Петрову, Алексею, сообщили, что разыскивает его мать, и адрес ее указали. Ежели ему угодно дать о себе знать, — он сам ей напишет.

Ну, конечно, напишет! Как же матери родной не написать? Небось, ведь, сам о ней думал, сам истосковался!

Ожила Паша. На следующий день вскочила, ни свет, ни заря. Вышла на улицу, почтальона подкарауливала, — наверно, письмо будет. Прошел почтальон, ничего ей не дал. Ждала одиннадцатичасовой почты, потом вечерней. Нет письма от Алешеньки. Должно быть, город дальний, в один день письмо до Парижа не доходит. Но еще день прошел, и еще... Замолчала Паша, потемнело лицо. Не выходила на улицу к почтальону. Ничего больше не ждала. «Ежели сыну вашему будет угодно дать о себе знать...» Видно, не угодно. Бросила его младенцем, какая я ему мать! Чужая женщина...

Моеет Паша посуду, перетирает тарелки, все об одном думает. Две недели прошло. Теперь и надеяться не на что. Значит, — нет у нее сына, погиб ее сын... И не слышит Паша, как поднимается кто-то по лестнице, громяхая казенными сапогами, как останавливается он у двери и нерешительно дергает за звонок. Не слышит Паша звонка, и ничего не чувствует ее материнское сердце. Стоит в дверях рослый фран-

цузский солдат, козыряет смущенно и хрипловатым голосом спрашивает про мадам Петрову...

Роняет Паша тарелку, смотрит в скуластое лицо солдата, что-то ищет в его лице, прислушивается к жирному акценту парижского предместья и понимает, наконец, что стоит перед ней сын ее, Алешенька. И нет у нее больше слов, и не чувствует она, как что-то горячее и соленое бежит по ее щеке и капает на грубую, солдатскую шинель...

**

Пришла ко мне Паша с сыном. Познакомила. Сияет вся, помолодела. Очень уж счастлива, — только одно неприятно: трудно с Алексеем объясниться. Она по-французски не очень-то крепка, а сын ни слова по-русски.

— И совсем он о России ничего не знает. Уж я ему одну книжку подарила «Мир и войну» Толстого...

— А почему, Паша, он сразу вам на письмо не ответил?

— Так ведь какая история вышла! Служил он, оказывается, в Страсбурге. Послало туда мое письмо министерство. А Алексей как раз в отпуску находился, в Париже. Ему письмо в Париж переслали, а пока оно дошло по назначению, отпуск кончился, и он обратно в Страсбург вернулся... Так время-то драгоценное и ушло. Спасибо, мадам Легра переслала ему письмо в Страсбург!

— Как, мадам Легра?!

— А как же, жива она, жива! Ведь вот какая хорошая женщина оказалась: и денег за пансион не получала, а Алексея моего выкормила и выпоила, как родного сына. Теперь у него, как бы две матери: одна француженка, а другая русская... А с адресом недоразумение вышло: живет она на рю Нотр Дам де Виктуар... Перепутала старуха!

Вот и вся история Пашиного счастья.

НЕЗАБВЕННЫЙ ДРУГ

ВОСКРЕСНОЕ дежурство в редакции подходило к концу. Машинки стучали теперь более торопливо, чем в начале рабочего дня, сотрудники дописывали последние телеграммы. Журналисты почему-то убеждены, что по воскресеньям ничего не происходит, кроме речей министров и церемоний открытия памятников, и хотя убеждение это решительно ни на чем не основано, воскресная информация, действительно, всегда выходит унылая: может быть просто потому, что тяжело работать в те дни, когда все приличные люди отдыхают.

Под вечер на моем столе зазвонил телефон. Голос человека, которого я знал, — он был поэтом, фотографом и монпарнасским завсегдаем, взволнованно сказал:

— Только что в госпитале Божон умер Миша Струев!

Я машинально записал на листке сообщение: в госпитале умер Миша Струев. И только после этого до моего сознания дошло, что умер свой человек, друг, сотрудник газеты. Был он немного сумбурный,

непутевый, но в общем славный малый, писал хорошие стихи, непрерывно в кого-то влюблялся, и в редакции недавно говорили, что он опять безнадежно влюблен и пытался даже отравиться, — кажется для того, чтобы напугать даму сердца... И пока я все это вспоминал, из телефонной трубки доносились плохо связанные одна с другой фразы:

— Я был у него днем в больнице. Он, знаете, еще не вполне оправился от несчастного случая... Мы разговаривали, все казалось нормальным, и я скоро ушел. А только что позвонили из госпиталя и сказали, что Струев умер от сердечного припадка.

Разговор кончился. Я вышел в соседнюю комнату, по которой ходил, мурлыча, взад и вперед заведующий редакцией, и сказал:

— Миша Струев умер!

Он еще немного помурлыкал и вынул из кармана часы. Надо кончать внутренние страницы, а тут внезапная смерть! Покойники всегда умирают не во время, к заключению номера. Но заведующий редакцией твердо помнил основное правило: в газете лучше всего читаются некрологи и похоронные объявления. И он сказал:

— Слушайте, надо бы вам съездить в госпиталь, узнать, как и что... Все-таки, наш сотрудник. Возвращайтесь поскорее, чтобы успеть дать на вгору.

Через четверть часа я приехал в госпиталь Божон и прошел под мрачными сводчатыми воротами.

В стеклянной камерке сидел человек в белом больничном халате и читал вечернюю газету. Он читал что-то очень интересное, вероятно уголовное дело, нехотя оторвался от листа и спросил, — что надо?

— У вас тут сегодня умер Михаил Струев, сказал я.

Человек помолчал. Он, конечно, уже знал о смерти Михаила Струева и только спросил:

— И что же?

— Я хотел бы получить сведения и увидеть тело.

Санитар подумал немного и, перед тем как снова погрузиться в чтение газеты, буркнул:

— Тело находится в морге. Пройдите в глубину двора, там вам покажут.

Во дворе было сумрачно, сыро и как-то тоскливо. Воскресные визиты родственников кончились. Последние посетители с облегчением уходили в мир здоровых людей, оставив утомленным больным кульки с апельсинами и жалкие цветы. В палатах уже зажигали свет, который тускло лился во двор и боролся с наступающими сумерками.

Я миновал несколько каменных строений, прошел по аллее, вдоль которой росли чахлые деревья и, наконец, увидел здание с каменным крестом. Это был морг.

Двери были заперты. Звонок, другой. Ответа не было. Наконец, из задней двери вышел санитар.

— Чего вам? спросил он.

— Мне сказали, что в морге лежит тело моего друга Михаила Струева. Он сегодня умер. Я хотел бы взглянуть на него.

— Нельзя, ответил санитар. Сейчас уже больше шести часов. Морг закрыт. Приезжайте завтра, после девяти. Вы тогда сможете условиться о похоронах.

Все это было ужасно грустно. Я постоял у запертой двери и подумал, что бедный Миша, так любивший женщин, солнце и цветы, теперь лежит в темной и сырой часовне, в казенном некрашенном гробу, — одинокий и заброшенный. Я подумал, что он умер от любви, как настоящий Поэт, и я обнажил голову перед этой бурой, плохо выкрашенной дверью. Прощай, Миша!

— Значит, нельзя?

— Нельзя. Правила. Вы увидите вашего друга завтра утром, твердо ответил санитар.



В редакции уже не осталось никого, кроме скучавшего дежурного и машинистки. Было семь вечера. Газетная жизнь регулируется не часами, а минутами, и заведующий, прикинув в уме, сказал:

— Даю вам десять минут на некролог.. Не размазывайте.

Я начал стучать на машинке. Конечно, это была информация, — завтра тысячи людей прочтут, что

поэт Михаил Струев скончался в госпитале Божон в результате сердечного припадка. Ничто не предвещало столь внезапного конца. Еще за час до смерти... Но нет, это не была простая информация.

— Миша был друг, мы сидели с ним по ночам в кафэ, говорили об Артуре Рамбо, о Верлэне, о пушкинской поэзии, а теперь он лежит в гробу из белых, плохо пригнанных одна к другой досок, а я имею десять минут на то, чтобы подвести итог всей его жизни.

Мне очень хотелось написать тепло, вложить в некролог частицу души. Но для этого нужно было время, а у меня остались считанные минуты и фразы выходили штампованные и привычные: еще за час до смерти он беседовал с навестившим его другом, делился с ним своими планами на будущее. От легкого недомогания, которое заставило Струева лечь в госпиталь, уже не оставалось и следа и он надеялся на следующий день вернуться домой... Потом я написал о стихах Миши, — таких простых и трогательных, о чистых истоках его поэзии.

Машинка выстукивала строку за строкой. Когда я дошел до фразы: «В лице его русская поэзия...» заведующий заглянул в комнату и сказал:

— Довольно, кончайте. Мы опаздываем.

Я дописал последнюю фразу, бросил горсть земли на свежую могилу и отправил материал в типографию.

А затем мы с заведующим вышли из редак-

ции и отправились вниз к «Дюпону» пить кофе и поговорить о покойнике, — не для публики и не в порядке информации, а для души.



На следующий день я пришел в редакцию позже обычного. Понедельник всегда был тяжелым днем, — надо было торопиться. На углу улицы Тюрбиго меня остановил литературный критик. У него было грустное лицо и он сказал:

— Бедный Миша... Знаете, вы написали прекрасный некролог... Это вам всегда удастся.

Я что-то пробормотал, но критик уже думал о некрологе, который он напишет для литературной страницы и пробовал на мне отдельные фразы:

— Вам не кажется, что на лице его всегда лежала печаль обреченности?

Я добросовестно представил себе круглое, жизнерадостное лицо Миши со слегка приподнятыми бровями и уклончиво ответил:

— Как сказать... В общем, возможно.

— Да, да, именно — обреченность, радостно закивал критик. Помните, у Блока:

На челе его бледно-чистом
Мы читаем, что близок срок

Мы распрощались — у критика теперь все было

готово, и он отправился писать фельетон. А я поднялся в редакцию. Там шла обычная жизнь. В приемной сидели какие-то обиженные старушки с просроченными документами, покуривали штабс-капитаны в шоферских синих шинелях и тоскливо мотался из угла в угол красноносый бродяга, которого двадцать лет полиция безуспешно высылала из Франции.

И в комнате моей все было, как обычно. На своем месте лежали свежие газеты, баночка с клеем и тупые ножницы. Я взглянул на «Стену Плача», — на эту стену мы наклеивали вырезки из газет с нелепыми опечатками. Миша любил читать эти вырезки... Но тут в комнату заглянул заведующий биржевым отделом и сообщил, что с акциями «Банк де Франс» сегодня твердо. Он почему-то изо дня в день сообщал мне о тенденции биржи, хотя никогда ни одной акции у меня в жизни не было. И после этого пошла работа, зазвонил телефон и начала стучать машинка.

Когда первая страничка была написана, я понес материал в общую комнату. Там было шумно, накурено, набросано, там сидели машинистки с густо напудренными носами и царила та особенная помесь атмосферы казармы и политического клуба, которая присуща всем редакциям.

Я не видел, как отворилась дверь и поднял голову только потому, что в комнате внезапно воцарилась необычная, немного жуткая тишина.

В дверях стоял Миша Струев.

Покойник смущенно улыбался, брови его были подняты несколько выше обычного и на лице, вместо обреченности, сияло плохо скрываемое торжество... Незабвенный друг подошел ко мне, крепко, как на похоронах, пожал руку и укоризненно сказал:

— Спасибо, дорогуша. В общем, хорошо... Хотя, родной мой, не скрою: могли бы уделить больше внимания. Такого покойника, да еще сотрудника газеты, можно было пустить и на первую страницу. И потом, дорогуша, — что же это вы самое главное забыли?! О сборнике моих стихов «Разбитая Лира» совсем не упомянули! А стихи, между прочим, первый сорт. Был я офицером, проделал войну, имею Георгия, — и опять ни слова! Так нельзя, обидно было читать!

Много написал я в жизни некрологов. Но никогда еще покойник не торговался со мной и не попрекал за то, что его пустили на второй странице, в правом углу.

Только много позже, когда я пришел в себя и были сказаны все нужные и крепкие слова, выяснилось, как два подвыпивших литератора решили проделать «психологический эксперимент» с целью опечалить прекрасную даму и вызвать у нее угрызения совести. Миша лег спать, а его приятель, уже плохо соображавший, что делает, сообщил в редакцию о безвременной кончине поэта. Как могло случиться, что в госпитале никто не поинтересовался

проверить названное мною имя покойника? Много людей умирает в Париже. Если приходит человек и спрашивает тело, значит и проверять нечего — надо идти в мертвецкую...

История на этом кончается. Миша Струев по сей день благополучно здравствует в Париже. Он пишет стихи, бывает на Монпарнассе и влюбляется. А некролог свой он бережно вырезал и вклеил в альбом, рядом с рецензиями о «Разбитой Лире».

СОСЕД С ВЕРСАЛЬСКОГО АВЕНЮ

МНОГО лет назад я жил в Париже, на Авеню де Версай. Удивительное это было место, тихое, немного провинциальное, все в зелени. Много старинных особнячков, окруженных садами. По утрам здесь можно было услышать пение птиц, это в Париже-то!

И люди здесь жили особенные, неторопливые, все больше старомодные старички и допотопные старушки, от которых веяло уютом, кофеем с цикорием и свежими круассанами. Старички шли в церковь к поздней мессе, а я направлялся в сторону Сены, — поглядеть на ленивые баржи, медленно ползущие против течения, посмотреть на рыболовов на набережной. Мудрое их терпение всегда меня умиляло: никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь поймал на Сене хотя бы самую захудалую рыбку, а рыболовы не переводились и не теряли надежды. Вероятно, это были мечтатели.

Исчерпав все доступные на реке удовольствия, я делал крюк и выходил на широкое авеню, неподалеку от двухэтажного домика, скрытого от улицы

высоким забором. Домик мало чем отличался от всех остальных, — был он не очень старой, но и не новой конструкции; железные ворота всегда наглухо заперты, — открывались они только в тех случаях, когда хозяин выезжал в город на своем небольшом черном автомобиле.

Хозяина я хорошо знал по виду. Ему было лет под семьдесят, может быть даже немного больше. Седая бородка клинушкой, брюшко, — хороший, аккуратный старичок. Мелкий рантье, отставной чиновник, что-то в этом роде. Всегда в черном, — черный костюм, черный котелок, холеные руки, не привыкшие к физическому труду. Я знал, что жена его умерла давно. Домом заведывала дочь, — молодая девушка, обречшая себя на одиночество, ни с кем не встречавшаяся, чуждавшаяся людей.

В хорошие, солнечные дни старичка можно было видеть в садике. Он сгибался над кустами роз и осторожно подстригал их садовыми ножницами, срезал мертвые веточки, боролся с дикими побегами, — розы у него были замечательные. Должно быть, он очень их любил и знал толк в цветах.

Этого любителя роз звали Анатоль Дейблер. По профессии он был палач.



Сосед был человеком неприветливым и скрытым, — таким, должно быть, сделала его профессия.

Журналистов Дейблер ненавидел люто. Это не располагало к знакомству. Раза два я видел его на работе и очень был разочарован: вопреки легенде, палач не носил цилиндра и белых перчаток, да и роль его, собственно, была ничтожной. Нажать кнопку — и все... Работали, главным образом, помощники, — здоровые ребята, получавшие у Дейблера с головы. Жалованье полагалось только палачу. Так как сдельной платы на жизнь не хватало, — Дейблер и сам на старости едва сводил концы с концами, — пришлось искать добавочное занятие, и они нашли его: служили лакеями в ресторане, который специализировался на устройстве свадебных обедов. Кто мог заподозрить, что лакей, так ловко выкладывающий на тарелку четверть курицы с гарниром, в свободное время помогает рубить головы преступникам?

Раз в месяц Дейблер надевал свой черный котелок и уезжал в министерство юстиции — получать жалованье. Аккуратно пересчитывал билеты и иногда осведомлялся, — не ожидается ли чиновникам прибавки? Один парижский адвокат, хорошо знавший Дейблера (адвокат этот был знаменитый и поставлял Дейблеру не мало клиентов) как-то рассказывал, что палач, в общем, человек добрый: следит за тем, чтобы смертникам не затягивали туго руки, --- не любит причинять страдания, и по дороге к гильотине дает клиентам полезные советы:

— Вы не смотрите на нож, чтобы не пугаться

зря. Закройте глаза и опирайтесь на меня. Не беспокойтесь, — это всего лишь один неприятный момент...

Был он большим знатоком человеческих душ, перед казнью внимательно изучал историю преступника, чтобы знать, с кем придется иметь дело. Часто жаловался прокурору:

— Не очень это приятно работать в Париже. Тут все больше апаши, да бандиты. А вот в провинции, — там крестьяне, приличные люди.

Любил он, чтобы все было по установленному церемониалу, чинно, прилично, красиво.

**
*

Почему я решил познакомиться с Дейблером?

Прежде всего — соседи, живем на одной улице. На авеню де Версай, он, конечно, был самым занятым человеком. И потом мучило любопытство, — какое может выйти интервью! Знал я в жизни многих профессиональных и случайных убийц, разговаривал с матерыми бандитами, едва не подружился с батькой Махно, — в коллекции моей не хватало только палачей.

Но Дейблер казался неприступным. Никогда в жизни он не давал интервью, ни за какие деньги не соглашался издать свои мемуары. Пишущих людей к себе не подпускал, фотографам не позировал. Был он человеком строгих нравов и, вероятно, от отца унаследовал правило: держаться в стороне от обык-

новенных людей, отгородиться от них высокой стеной, — палач должен оставаться загадкой.

Я ходил по версальскому авеню, поглядывал на железные ворота и думал:

— Может быть, он выйдет на прогулку, — ведь должен и Дейблер когда-нибудь гулять? Он выйдет, а я поклонюсь ему, как старому знакомому и скажу: «Бонжур, мосье Анатоль!». Дейблер будет удивлен, — не может не удивиться. «Вы кто такой? Разве мы знакомы»? «Нет... но мы соседи. Я вот живу в том большом угловом доме»... Дальше воображение мое быстро иссякало, но я верил в звезду журналиста, — вывезет! Ворота, однако, не открывались, и Дейблер не показывался.

Я стал какой-то рассеянный и нервный. На версальском авеню прохожие оборачивались на меня с легким испугом, — сам того не замечая, я довольно громко разговаривал с мосье Анатолем, подавал ему ловкие реплики и постепенно завязывалась оживленная беседа с самим собой. И, однажды, увлеченный своей навязчивой идеей, как-то вдруг особенно легко и решительно, я остановился у ворот и дернул звонок.

Прошла минута — ужасно долгая и неприятная. Может быть, мне повезло: никого нет дома? Где-то хлопнула дверь, кто-то кашлянул, потом по гравию послышались шаги. Мелькнула мысль, что хорошо бы удрать во все лопатки, пока не поздно, — мало ли кто дергает звонки у ворот? Но было уже поздно.

Ворота, — заветные ворота, выкрашенные в серую краску, приотворились.

В двух шагах от меня стоял Дейблер. Он не сразу понял, кто я, зачем я пришел, и как-то машинально, с вежливой строгостью, спросил:

— Что вам угодно, мосье?

Приготовленная фраза застряла в горле. Его светлые, какие-то прозрачные глаза, внимательно смотрели на меня.

— Я хотел просто познакомиться с вами, сказал я наконец.

— Кто вы?

И вдруг, мальчишеское, бешеное веселье охватило меня.

Уже предвкушая радость скандала, с видом невинного агнца, я сказал:

— Я журналист. Пришел к вам за интервью.

Он отступил на шаг, ничего не сказал и с неожиданной, яростной силой, захлопнул ворота.

Дейблер не дал мне интервью.

Несколько лет спустя я прочел в вечерней газете, что сосед умер в метро, от разрыва сердца. Судьба послала Дейблеру смерть молниеносную, как под ножом гильотины, — всего лишь один неприятный момент.

МОЙ ЛЕГИОНЕР

ОН пришел пешком через весь Париж, — рослый, здоровый, с загорелым, обветренным лицом. Вытянулся в струнку, опустил руки по швам и весело отрапортовал:

— Сержант Иностранного легиона Федор Заплетный, 38 лет, крестьянин Подольской губернии, Могилевского уезда, села Карповки.

Покончив с официальной частью, улыбнулся и сообщил, что только что нелегально побывал в Сов. России, прожил там восемь дней и благополучно вернулся обратно во Францию.

— Мамаша там у меня оставалась. Жинка тоже. И сестренка. Я их почти 15 лет не видел... Так что пришлось поехать и вызволить. С собой привез во Францию...

Он говорил об этом так, словно речь шла о небольшой увеселительной поездке. Простой, неграмотный русский человек совершил рискованнейшее в мире путешествие. Не играл в конспирацию, не гримировался, не брал проводников, — может быть

именно поэтому удалось ему вернуться живым и невредимым.

Федор Заплетний рассказал мне свою историю на смешанном русско-польско-украинском жаргоне, пересыпая речь французскими словечками, подхваченными в Иностранном легионе.

Вот что я записал под его диктовку:

— Воевал я охотником во 2-ом Лабинском полку. В двадцатом году отступили мы в Польшу, — у меня забрали винтовку и коня и посадили в лагерь, за дроты. И за тем ограждением нас держали поляки 5 лет. От них я научился говорить по-польску. Когда из лагеря выпустили, я работал в одном магазине, сделал экономию денег и уехал в Варшаву. Пришел к французскому консулу, записался в Иностраный легион.

Отправили меня и других записавшихся сначала в Гавр, потом в Марсель, а оттуда в Сиди-бель-Аббес. Стал через 6 месяцев капралом. Далее произвели в сержанты. Нашивку дали. Был я в музыкантской команде. На тромбоне играл.

Шли мы раз с поста Гурама за водой. 2 километра надо было пройти пешком в пустыне. Добрались до колодца. Только нагнулся я набирать ведеркой воду, — вдруг стреляют. Арабы в камни залегли и стреляют. Тут меня сильно в левое плечо садануло. Я потом 2 года в госпитале пролежал. И дали мне за это геройское дело военный крест с одной пальмой.

А тех арабов порубали кавалеристы, — сейчас же на выстрелы из крепости прискакали.

В легионе я не пьянствовал, все деньги и примы откладывал. И когда в 1934 году меня освободили, — на руках было 18.000 франков. Из тех денег 4.000 отослал я жене и матери, в село Карповку. Очень они на нужду жаловались. А сам поехал на ферму. Год поработал. И задумал я одну мысль. Мать писала: приезжай домой сынок, мучаемся без тебя. Вот я и решил поехать.

Паспорта нашему брату, легионеру, все равно не дадут. Сменил я все мои деньги на доллары — 585 долларов вышло. Купил на Гар дю Нор билет до Кракова и поехал помаленьку. К тому времени совсем перестал я бриться. Бороду запустил, волосы как у попа. Из Кракова, не задерживаясь, до Волочиска поехал. Это в Галиции. А от Волочиска до советской границы — версты три будет. Рукой подать. Это мне места все знакомые.

Выбрал я огород пустой. Разделся. Костюмчик новый сложил, а сам в старый оделся. Штаны, рубашка, пиджачишко. И захожу в первую же хату.

— Дядьку, я хочу у вас вещи оставить.

Дядьку посмотрел на меня и говорить:

— Добре, оставляйте. Ваши вещи не пропадут.

В Волочиске прожил я дней пятнадцать. Все ходил на реку Збруч. Мост там есть. И на том мосту застава польская и красноармейская. По каждой

стороне пулеметы и у большевиков всегда две та-
чанки на изготове.

Я все ждал — может речка замерзнет, — по
льду тогда перейду? Но на шестнадцатый день си-
деть надоело. Решил прямо через мост идти. Будь,
что будет: або смерть, або пройду!

Дал я дядьке, что меня кормил, два доллара, а
остаток в рубаху завязал. В восемь утра вышел из
дому с палкой. Лицо себе землей малость выпачкал,
шапку на бок заломил, волосы растрепал. Иду,
шкандыбаю. Около места поляки останавливают и
спрашивают:

— Где пане идет?

А я немым прикинулся. Над головой пальцами
рога изобразил. Потом сзади рукой помахал, как хво-
стом. И в сторону России показываю: корова, мол,
у меня туда убегла... Посмеялись с меня поляки и
пропустили.

Прихожу до красной заставы.

— Стой, товарищ. Куда идешь?

Опять я рога соорил, хвостом помахиваю и
мычу... Не понимают, сволочи! А я стараюсь, из
кожи лезу:

— Ммммыыы!.. Мыыы...!

И плачу, руки с горя себе ломаю. В степь пока-
зываю. Тут один красноармеец понял:

— У поляка корова на нашу сторону забежа-
ла... Немой парнишка. Пропустим его, чего уж...

Позвали комиссара ихнего. Тот послушал и говорит:

— Катись, немой, за своей коровой!..

Снял я шапку, поклонился и — ходу. Верст за 5 от моста свернул с дороги и пошел напрямик на Каменец. 25 верст отмахал. К вечеру прибыл на станцию. Иду в кассу и билет требую до Могилева. И даю доллар кассиру.

— Откуда, спрашивает, борода, у тебя валюта взялась?

— Братуха у меня в Америке. Прислал.

Поверил кассир и за доллар выдал мне билет. И на другое утро я спокойно в Могилев приехал. Никто в дороге не беспокоил — только билет раз спросили. Слез с поезда транкильман. Сдал билет, на улицу вышел. Вижу — город стал нищий. Какие дома побогаче были — совсем развалились. Другие заколочены. Лавки есть. А продают в них, извиняюсь, две капусты, да селедку паршивую. Очень мне есть хотелось, да купить не на что, а доллары менять нет охоты, да и опасно. Пошел я скорей до Карповки, — верных три версты будет. И не заметил, как версты те отмахал. Очень уж своих повидать хотелось.

Да вот и Карповка. Совсем переменялась деревня. Бедно все вокруг стало. Прихожу я к моему дому и смотрю на него. Познаю и не познаю. Раньше был дом богатый, под черепицей. А теперь под соломой. Хлева не видать, конюшни нету. Двор наш был за-

житочный. Восемь лошадей было и коров штук двадцать. А теперь ничего не видать. Ну, думаю, пойду камнем. Стучу в окно. Старуха выглядывает.

— Здравствуйте, тетка. Дмитрий Заплетний здесь жил?

— Да, говорит. Мы будем Заплетние.

И честное вам слово — не признал я сразу мать! Такая старая, да убогая стала. И она не признала своего сына. С девятнадцатого года я не был дома. Изменился очень. Бороду отпустил.

Вхожу в хату, себя не называя, прошу покормить — очень я изголодался. Поставила она на стол миску борща, хлеба дала краюху. Ем я, а потом спрашиваю:

— А где будет теперь ваш Федя?

— Поїхав мій сін с деникинцями. Писал потом письма. В Африке он. О дикими людьми бьется.

А тут жена входит и сестра с ней. Жену я сразу признал — у нее пятно на ухе. А сестру нет, не признал. Ребенком оставил. А тут — девка здоровая. Поел я и сижу, а они меня все не признают. Смехота, ей Богу!

— Неужели, спрашиваю, мамаша, вы вашего сына Федю не признаете?

Обиделась старуха.

— Какой вы мне сын? Вы брешете. Сын у меня высокий, здоровый. Он и без бороды. Полезла в сундук и фотографию вынимает:

— Это не вы, каже, посмотрите на мово сына, и

посмотрите на вас, каже. Мій сын високий, грубий. А вы худенький.

Тут кума в хату заходит.

— Что за старец у тебя, спрашивает?

— Вот, кума, вы бачили Федю, который уехал охотником с деникинцами. Похож этот старец на мово Федю?

— Я, говорит кума, Федю твоего за 20 верст признаю. То не вин!

И только тут жинка что-то зачужала своим сердцем. Был у меня на руке ожог, так она тот ожог может увидела... И вдруг как закричит:

— То вин!

Мать сомлела. Сестра так само. Жинка плачет, за сердце хватается... Потом расспрашивать стали: как, мол, приехал? Ну, я рассказал им, как дурачком прикинулся, немым, то есть... Решили молчать. Спрятали меня в хате. Сижу и носа на улицу не показываю.

А только через восемь дней заглядывает к нам товарищ.

— Где, спрашивает, старик, который до вас приходил?

— А кто его знает. Приходил, поесть попросил. Дали кусок хлеба да борща. Поел он и ушел.

Ушел сотский. А через час красноармейцы приезжают. Как увидел я их на дворе, так — прыг на печку, а оттуда в окно. В огород выскочил, да в канаве сховался. В той канаве еще снег лежал. На

Пасху дело было. Искали меня красноармейцы, да ни с чем и уехали.

Возвращаюсь в хату. Мать плачет, убивается.

— Не стоит, тебе, сынку, здесь оставаться. Уже доказали люди, что ты приехал. И тебя, Федя, изверги расстреляют!

— Ну, говорю, мамаша, я драпаю обратно во Францию. Але е ретур по нашему, по легионному.

Бабы, конечно, заголосили.

— Продайте, говорю, мамаша, ту последнюю корову и лошадь и поедем вместе во Францию. Вам тут хлеба по фунту выдают, а там — сколько хочешь. Едьте, едьте со мной, мама! Во Франции русских много, помочь подают. Сыты будем, транкильман.

— А что же с хатой делать, Федя?

— Да нехай пропадет! Да я хату сам запалю...

И тем же вечерком мамаша продала соседке корову и лошадь за 45 червонцев. Оделися бабы в хорошую одежду. Кофточки взяли, белья немного. Пальто свое дамское надели. Условились мы встретиться в Каменецком, на станции. Я последний вышел. Хотел хату запалить, да не решился... С Карповки я пошел на Ученцы, потом в Озаланцы — может знаете такое село? — потом в Сказинцы и, круговой дорогой, к Лядову вышел. В Лядове купил билет до Каменецкого, на границе. Приехал в три часа утра. По городу походил. Лавочки утром открывались. Зашел в одну — чаю выпил два ста-

кана. Потом к вокзалу пошел и там с матерью повстречался.

И все мы четверо, гуляючи, подошли к реке Збручу, на самой границе. Никого нет. Кустики. Смотрели кругом, будто поле свое выглядываем. Сломал я палку, в воду сунул. Вижу — глубины настоящей нет. Перейти мальчишка может.

Мы сейчас разделися. И перешли реку. По пояс воды было. На польской стороне оделися и — давай ходу! Зашли в деревню Вербуци, а оттуда нас мужик в Волочиск отвез, где я новый мой костюм заховал. Нашли того самого дядьку — очень он нам обрадовался. Две курки забил, вареников с сыром наварил, водки бутылку поставил. Бабы мои диву дивятся — давно так не ели... Три дня мы у него отпочили. А на четвертый в дорогу собрались. Даю я дядьке за все доллар, а он брат не хочет.

— Берите, говорю, дядька. Чего там...

— Не откажусь, говорит, возьму, буду иметь от вас на память доллар этот американский...

Приоделся я, бороду подправил, и уехали мы поездом до города Данцига. Там тоже документов не спрашивали — только револьвера искали, или товаров каких. Пришли к пароходу всей семьей. Французский пароход, двухтрубный. Подхожу к капитану, отдаю честь по военному, показываю книжку Легиона и говорю:

— Эскюзе муа, мон капитэн, вуала...

Объяснил, как и что, и он нас всех без паспорта

в Гавр взял. И тут я явился в бюро де рекрутман, где подписываются в Легион. Стал во фронт, честь отдал. Бабам документы обещали выправить, а мне дали 500 франков — быстрая помощь. И мамаша смотрит на меня и удивляется:

— Ты же, Федя, у меня дурачком был... А как в Африце выучился по ихнему разговаривать! Чудно мне.

Теперь мы документов ждем. А как справим документы — все едем на ферму, в Канталь. К мосье Ребуассону. Старый мой хозяин. Меня батраком, жену да сестринку — коров доить, да и по хозяйству работать. А мамаша при нас будет...

Вот и все — конец моему путешествию. И если за меня писать будете, скажите, что никого не боюсь. Это нашему брату легионеру не полагается.

МАРСИК

РАННЕЙ весной Марсик начал тосковать. Часами лежал на войлочной подстилке, смотрел в пространство своими зеленоватыми, мерцающими глазами и время от времени жалобно мяукал.

Варвара Петровна испробовала все старые, испытанные способы, чтобы убажить Марсика. Нежно гладила его, слегка щекотала за ушами и удивлялась, что кот не реагирует, не мурлычет и не выгибает спину колесом. Марсик стал равнодушен и к другим радостям жизни: еле притрагивался к рублевой печенке, только изредка и с видимым усилием лакал молоко и, покончив с едой, не занимался, как бывало, своим туалетом, тщательно и до блеска вылизывая свои черные лапки. И больше не терся сладостно боками о ноги хозяйки, не прыгал неожиданно на колени и не исчезал мартовскими ночами где-то на крышах, где шли предрассветные кошачьи концерты.

Варвара Петровна огорчилась. Марсик стал за эти годы неотъемлемым членом семьи, близким существом, с которым можно было поговорить и

поплакать, и хотя кот ничего не отвечал, но по глазам было видно, что он все отлично понимает и сочувствует. И вдруг — такая беда! Варвара Петровна осторожно потрогала кота за нос, — температуры, как будто, не было. И тут она заметила, что на голове, в черных как смоль волосах Марсика, появилось несколько белых, седых волос. Позже, когда ветеринар спросил, сколько ему лет, она пыталась вспомнить, ответить на вопрос точно, и не могла: десять, двенадцать, а может быть и больше?... Его принесли в дом совсем крошечным, забавным котенком и назвали Марсиком, — в детстве это имя очень ему подходило. Он был котенком шаловливым, часами мог играть с бумажкой, привязанной к нитке, обожал сладкое молоко, и Варвара Петровна помнила, как в первый раз котенок долго целился, прежде чем спрыгнуть на пол с дивана, — это было страшно высоко... Потом он незаметно превратился в большого кота с ленцой. Лентяем он стал поневоле. Мышей в доме не было и охотничьи инстинкты в нем так никогда и не получили развития.

Варвара Петровна была женщиной одинокой. Болезнь кота страшно ее взволновала.

Ветеринар долго осматривал Марсика, мерял температуру, раскрывал ему рот деревянной ложкой и выслушал сердце, приложив к груди стетоскоп. Кот лежал на столе спокойно, и Варвара Петровна умилилась: Марсик понимает, что все это делается для его же пользы.

Закончив осмотр, ветеринар вынул из шкафчика пузырек с какими-то каплями, объяснил, как их давать, и сказал:

— Болезнь старости... Сердце пошаливает. И вообще — кот ваш совсем одряхлел... Тут помочь трудно.

Больше Варвара Петровна Марсика к ветеринару не носила. Капли не помогли. Марсик промучался еще несколько недель и как-то по утрам Варвара Петровна нашла его на подстилке мертвым. Он лежал, вытянув лапки, со стеклянными зелеными глазами и полураскрытым, оскаленным ртом.

Это было так страшно, что Варвара Петровна заплакала.



Кота нужно было с честью похоронить, — он был близким существом, другом, и Варвара Петровна содрогалась при мысли, что бедного ее Марсика можно просто выбросить в мусорное ведро. Это было бы жестоко и оскорбительно, этого она не могла себе позволить.

Под Нью-Йорком у нее был летний домик, купленный случайно, в хорошее время. Сада не существовало, но перед домом был клочек земли, — американский стриженный газон и несколько кустов жасмина. Под одним из этих кустов она и решила похоронить Марсика.

Все это было ужасно грустно. Она достала пустую картонку, наполнила ее внутри папиросной бумагой и уложила Марсика. Картонку завернула в белую бумагу и перевязала широким синим бантом, который нашла в шкатулке, — бант тоже сохранился от лучших времен.

Теперь нужно было ехать на вокзал. Варвара Петровна взглянула в расписание и увидела, что до поезда еще два часа, которые нечем заполнить. Потом мысли пошли по привычному практическому руслу. Можно было по дороге на вокзал заехать в универсальный магазин на 34 улице и кое-что купить для дачи.

В магазине Варвара Петровна влилась в большой поток и начала делать то же, что делали тысячи других покупательниц. Остановилась перед кофточками, лихорадочно порылась в груди разбазариваемых нитяных перчаток, оттуда попала в отдел кухонных принадлежностей и начала смотреть, как демонстрируется новый способ чистки овощей. Было жарко, и в тесноте и в давке Варвара Петровна не заметила, как произошло нечто ужасное: коробка с синим бантом, которую она положила за минуту до того на прилавок — бесследно исчезла!

Варвара Петровна на мгновенье замерла от ужаса, а затем заметалась по магазину, спрашивая у продавщиц, не видели ли они злополучную коробку? Продавщицы выслушивали ее с равнодушным видом и отсылали к заведующей отделом, а та в дирекцию.

Мало ли пакетов крадут в день в большом магазине?

В дирекции было тихо, прохладно и гудели вентиляторы. Жалобу сочувственно выслушали, вызвали детектива, и тот спросил, как выглядел пакет, и что в нем было. Варвара Петровна сказала:

— В коробке лежала кошка... Марсик.

— Какая кошка? Резиновая, или набивная, матерчатая? Купленная у нас?

Только тут Варвара Петровна поняла, какой дичью покажется вся эта история посторонним людям, — разве она могла им объяснить, кем был в ее жизни Марсик, и почему он заслужил могилу под жасминовым кустом?

Но директор и детектив не удивились, — они ко всему привыкли и все сразу поняли. Варваре Петровне даже показалось, что они очень ей сочувствуют, — директор сказал, что хотя речь идет о кошке, но это настоящая «человеческая история». Это был хороший, сентиментальный человек, или он когда то попросту окончил курсы психологии и считал себя специалистом по тайникам человеческой души. Директор хотел еще что-то сказать и утешить Варвару Петровну, но в это время на столе зазвонил телефон. Он взял трубку, выслушал то, что ему говорили и вдруг повеселел:

— Кажется, ваша коробка найдена... Пойдемте вниз.

Боже, как медленно движется лифт! Восьмой этаж, — девочка в коричневой форме монотонно

выкрикивает: мебель, античные вещи, картины... Седьмой этаж: электричество, кэмпинг, спорт... Шестой: дамские платья, белье... Лифт скользит вниз, на мгновение захватывает дух, потом ход замедляется, и все тот же певучий голос продолжает называть этажи и ненужные вещи, и какие-то люди, толкаясь, выходят из лифта, на смену им входят новые люди, и снова при спуске захватывает дух... Они проехали первый этаж, лифт скользнул вниз, в подвальное помещение, и девочка в коричневой форме в последний раз пропела что-то о хозяйственных принадлежностях и садовых инструментах, — в лифте уже никого не было, кроме Варвары Петровны, директора и детектива.

Они вышли, и Варвара Петровна, все еще оглушенная и ничего не понимавшая, последовала за этими двумя мужчинами, быстро и уверенно шедшими вперед. Они остановились у двери, на которой было написано «Дамы». Появилась заведующая местом отдохновения и все вместе вошли: дам внутри не было, их удалили в виду происшедшего инцидента. Заведующая на ходу объяснила, — она не виновата, она ничего не знала. Эта женщина вошла и заперлась. Воровки часто заходят в уборную, вскрывают пакеты и, если вещь ценная, уносят ее, а если не стоит рисковать, бросают на пол...

Заведующая не обратила внимания, она очень занята, — подумайте, двенадцать кабинок, все надо держать в чистоте, и дамы вечно просят то иголку

с ниткой, то пудру, — и вдруг она услышала страшный, пронзительный крик.

— Я открыла дверь моим запасным ключом... Эта женщина лежала на полу, без чувств...

Детектив подошел к кабине и открыл дверь.

На полу, все еще без чувств, лежала негритянка. И рядом с ней — раскрытая коробка.

Из коробки глядел на негритянку страшный, черный кот со стеклянными глазами и оскаленным ртом.

НАСЛЕДНИКИ МАЙКА

ЗА зиму в домике на сваях ничто не изменилось, — только умер старый Майк. Когда мы пришли брать лодку, показалась молоденькая Мэри, сильно выросшая и похорошевшая, принесла весла, и от нее мы узнали, что Майка больше нет.

— Отец умер зимой, — сказала она. — Пошел в бурю привязывать лодки и вычерпывать из них воду. Промочил ноги, простудился, а через три дня скончался. И все перед смертью беспокоился, — хорошо ли привязаны лодки? Дул сильный ветер, их могло оторвать от причала и унести в океан.

Это все, что она нам сказала. Попрежнему между сваями, обросшими ракушками, хлупала вода. На берегу лежал перевернутый остов давно сгнившей шлюпки, валялись клочья пакли, заржавевшее и продырявленное ведро... Жаль Майка. Зимой и летом он жил на этом поплавке, обслуживая рыболовов. Старик отлично знал океан, угадывал приближение непогоды, ему были известны все места, где клюет рыба. Когда начинался прилив, он неторопливо снаряжал нас на ловлю, отправлялся в сарай и из ящика

с мокрой травой выбирал самых жирных червей на наживку.

— Майк, — говорили ему рыболовы, — выби-рай червей получше.

— Нет плохих червей, — отшучивался Майк. — Есть плохие рыболовы... Рыбу знать нужно, — у каждой своя повадка: Одну на червя, другую на мидию, а третью на кильку поймает. Человек зна-ющий, окуня за хвост подсечкой возьмет, а у таких как вы, окунь с грузилом и с крючками вместе уйдет...

Майк знал рыбу, но особенно хорошо знал он людей и маленькие их слабости. Делал вид, что верит хвастовству, и когда рыболовы привозили свой улов, — обязательно слегка преувеличивал вес рыбы, — ему не жалко, а человеку — приятно.

Что он делал зимой в этом домике на сваях, на берегу океана, было непонятно. Рыболовы больше не приезжали, никто не заказывал ему супа из ракушек и свежей рыбы. Лодки стояли полузатопленные. Под сваями разбивались мохнатые гребни волн, над низким, песчаным берегом ползли туманы, и где-то в океане, за косой, протяжно и печально перекликались пароходы, выходявшие на простор. В такие дни Майк сидел у окна, покуривал трубку и смотрел, как легкий ветер гонит туман над песчаными дюнами, над унылым, засохшим камышом.

В молодости Майк был моряком, на долгие ме-сяцы уходил в Южную Америку или в Австралию.

Рано овдовел и не захотел отдать маленькую дочь на воспитание чужим людям. Майк навсегда остался на берегу, построил этот досчатый домик и стал промышлять лодками и рыбой. Это было очень давно. Жизнь прошла быстро, незаметно, — иногда он сам удивлялся, как промелькнули дни и годы. Когда умерла жена, Мэри была еще худенькой, белокурой девочкой. Потом пришлось купить велосипед, — Мэри стала ездить в школу, в соседний городок. Возвращалась вечером, привозила хлеб, молоко, табак для отца. Иногда Майк старался понять: когда произошло превращение Мэри в стройную, красивую девушку, на которую засматривались все рыболовы? Когда из здорового и жизнерадостного моряка он превратился в инвалида?

Что-то Майк проглядел, чего-то не понял, и так и умер, не разобравшись как следует в том, как прошла его жизнь.



В полдень рыба перестала клевать. Солнечные лучи падали отвесно, по воде играла серебряная рябь, на которую больно было смотреть. Приблизился мертвый час, когда рыба засыпает и начинает клонить ко сну и людей, убаюкиваемых мерным покачиванием лодки.

От берега отвалила плоскодонка. Мэри стояла на корме, ловко работая одним веслом, и хотя на-

чался отлив и в канале усилилось течение, лодку не относило в сторону.

— Мэри! — закричал мой спутник, сложив руки рупором. — Куда?

— На косууу... — понеслось над водой.

— А мы завтракать собирались...

Плоскодонка быстро приближалась. Поравнявшись с нами, Мэри сказала, уже не напрягая голоса:

— Вы выгребайте на поплавок. Там Джо. Он приготовит вам еду...

— Кто такой — Джо?

— Мой муж, — ответила Мэри.

Мы уставились на нее. Утром она не сказала, что вышла замуж, — сообщила только о смерти отца, дала лодку, и мы уехали. А теперь оказывается — муж... Должно быть, она заметила наше изумление и легкую растерянность и добавила:

— Не бойтесь — он вам не конкурент. Он не любит ловить рыбу!..

Мэри лукаво засмеялась, перестала табанить веслом, загребла изумрудную воду, и лодка, виляя из стороны в сторону, пошла вперед. Когда молодая женщина была уже далеко, до нас донесся ее низкий, немного горловой голос. Она пела негритянскую песенку:

— ...I have plenty of Nutt'n

Мы помолчали. Приятель начал сматывать удочки, а я занялся якорем. Сначала шла мокрая, холодная веревка с приставшей к ней морской травой. По-

том показался тяжелый чугунный брусок, заменявший якорь. Я втащил его в закачавшуюся лодку.

Сели за весла, дружно ударили по воде, которая пошла за кормой широкими разводами. Навстречу поплыл берег, пришвартованные баркасы, причал на сваях.

На горячих от солнца досках, у самой воды, стоял молодой парень в тельнике. Он был светловолосый, с загоревшим лицом и шеей. Руки были мускулистые, движения ровные, уверенные.

Он помог нам пристать, подхватил конец, закрепил его, и когда мы выбрались из лодки, сказал:

— Меня зовут Джо. Я — муж Мэри.

**

Джо оказался покладистым малым, — словоохотливым и услужливым. Но никаких запасов на кухне не было. Мэри не ждала нашего приезда. Все же, нашлись яйца, хлеб и масло. Кофейник уже стоял на огне.

— Как рыба? — спросил Джо.

Рыболовы — народ суеверный и, чтобы не испортить день, мы сказали, что так, мелочь, ничего особенного. Джо выслушал с видимым удовольствием и кивнул головой:

— Отсюда даже рыба ушла, сказал он. — Место для утопленников.

Он налил кофе и присел за стол. Не торопясь закурил, затянулся два или три раза и заговорил, будто мы только на минуту прервали давно начатый разговор.

— Рыба, она в океане, по ту сторону косы. Рыба простор любит. А сюда идет только мелочь, которую заносит приливом. Что ей здесь делать? Тут ни рыбе, ни человеку, делать нечего... Отсюда уходить надо. И вот я хочу уйти, да Мэри мешает, — жаль ей бросить этот дом. А что в нем хорошего? Всюду щели, через которые продувает. Место гнилое, болотистое. Летом жарко, комары. Зимой или ветры, или туманы. Ни дерева, ни цветов, ни людей. Мэри прожила тут всю жизнь, как дикарка прожила. Родилась она на этом берегу и ей, верно, кажется, что ничего лучшего в мире, чем Лонг Айленд нет... А я хочу бросить все это и уехать домой, в Техас... Слышали вы про такой город: Сан Антонио? От нас до мексиканской границы рукой подать, и люди думают, что это, должно быть, одни только камни, пустыня, да кактусы... А у нас такие сады и цветы, каких нигде в мире нет. Весной начинают цвести розы, по ночам в мексиканском квартале — фиеста, поют всюду серенады и играют на гитарах. А потом поспевает хлопок, — ничего нет красивее хлопковой плантации в цвету... В полях работают пеоны и негры в широкополых соломенных шляпах. По вечерам, после ужина, они собираются во дворе ранча и поют наши старые, тексасские песни...

On the rocky banks of the Pecos
They will lay him down to rest
With his knapsack for a pillow
And his gun accross his breast.

Джо спел вполголоса о бродяге, который навсегда остался у скалистого берега Пекоса, и столько было печали в его песне, что я спросил:

— Любишь Тексас, Джо?

— У нас есть поговорка, брат: «Вскрой тексасцу череп, — увидишь внутри карту Тексаса»... А Мэри не хочет, — жалеет этот берег, на котором ничто не растет, и свои лодки. Ну, какая здесь радость? Летом еще можно жить, а придет зима, — уеду к нам, на юг.

— Майк жил здесь с Мэри круглый год.

— Майк здесь родился, и Мэри тоже. Майк был старый, утомленный человек, а мы молоды и должны думать о будущем.

— Что же вы будете делать?

— Я до войны был механиком и хорошо знаю автомобильное дело. Купил бы газолиновую станцию милях в двадцати от города, на дороге из Сан-Антонио в Бандера... Отлично бы жили. Мэри будет ездить в город, в церковь, — замечательные у нас церкви и монастыри. Все у нас есть. А тут что? Сиди и жди, когда придет рыбак и купит дюжину червей!

Нам стало жаль этого молодого парня, умиравшего от тоски и безделья в этом глухом углу, и жаль

Мэри, — теперь мы поняли, почему у нее было «Plenty of Nutt'n».

Мэри он встретил случайно, в соседнем городе, куда она ездила за покупками. Он был тогда в армии, его должны были отправить за океан, и эта встреча с красивой, стройной девушкой была последней нитью, связывавшей его с какой-то разрушенной, исчезающей в войне жизнью. Они виделись еще два или три раза, были в кинематографе, пошли на танцы, и ночью, провожая домой, он неловко ее обнял и поцеловал, и потом спросил, согласна ли Мэри быть его женой? Она ответила поцелуем. На этот раз поцелуй вышел более удачный, и через месяц они повенчались.

Война кончилась. За океан его не отправили. Теперь он был в штатском платье, сидел без дела, и его тянуло домой, на просторы Тексаса.

Садясь после завтрака в лодку, мы уже твердо знали, что Мэри больше не будет жить в этом домике на сваях, а где-то на пыльной шоссейной дороге между Сан Антонио и Бандера. Не будет ни роз, ни фиесты, ни цветущих плантаций. Под окнами вместо морского простора, будут торчать газолиновые столбики. Подъедет автомобилист, погудит, — нужно будет выйти и накачать десять галлонов. Потом он попросит подлить воды в разогревшийся радиатор, вытереть переднее стекло, и Мэри сделает это, — получит деньги и уйдет с солнцепека в комнату, ждать следующего гудка.

**
*

В начале лета рыба уходит из канала дальше, в океан. На поплавок к Мэри мы собрались не скоро и попали туда только осенью, когда пошли первые туманы и опять начался хороший улов комбалы.

На поплавке было пусто. Лодки куда-то исчезли. Домик стоял заколоченный и на дверях висела бумажка: «Продается. За справками обращаться к агенту...»

В камышах, на пустыре, мы увидели продырявленное кресло, в котором когда-то сиживал у окна старый Майк. Пружины из него выперли и заржавели... Должно быть, креслом никто не соблазнился.

МИССИС КАТЯ ДЖЭКСОН

РАССКАЗ этот приходится начать в духе бульварного романа: мы сидели в баре на 57 улице и пили какую-то подозрительную бурду, при чем мне показалось, что барман сильно приналег на джин, — коктейль его был довольно крепкий. После третьей рюмки Катя слегка опьянела. Потом я думал, что если бы не это случайное обстоятельство, я никогда не узнал бы истории миссис Джэксон, — так Катя официально именовалась в своих бумагах... Повторяю, — началось все это в духе бульварном, и этот полутемный бар для парочек, и барман, не замечавший того, что творилось кругом, — вульгарно было все, кроме самой Кати. Удивительные были у нее глаза — какой-то прозрачной синевы, — такие глаза я видел только у эстонок, а она была русской, совсем русской, вероятно откуда-то из Орла или Полтавы. Было в ней что-то очень чистое и хорошее, — может быть, ее молодость, эти глаза, или чуть вздернутый нос, — была она хороша спокойной, русской красотой.

Все в ней было очень просто и ясно, ничего «фа-

тального», и когда она начала рассказывать свою историю, я удивился, — уж очень вышло необычно: провинциальная русская девушка, десятилетка, прогулки с подругами на берегу Днепра и вдруг, — заколоченные теплушки, немецкие часовые, бесконечное путешествие, голод, жажда.

— Это в прошлом и вы, верно, уже тысячу раз слышали такие рассказы. Лагерь для рабочих с востока, грязные нары в три этажа, холод, сырость, ведра с тепловатой водой, в которой плавают капустные листья, и по вечерам, после изнурительного дня работы, ломоть хлеба и убогий кусок колбасы-эрзаца... Нас было несколько девушек из одного города, мы держались вместе, и теперь я с удивлением вспоминаю, что во всем этом аду мы не растерялись. Крепкая у нас была спайка, самые сильные поддерживали слабых, и в свободный день, после стирки, после приборки барака, мы еще собирались где-нибудь в углу лагеря и читали друг другу по памяти стихи, — представляете себе «Незнакомку» в зловонном беженском бараке? Но это помогало, появилась внутренняя, духовная жизнь, и легче было переносить все наши невзгоды. Очень скоро к этим невзгодам прибавились новые: шли бомбардировки, соседний город горел, завод, на котором мы работали, уже был наполовину разрушен, и мы теперь уже работали не на производстве, а были заняты очисткой улиц от развалин, от груд щебня и кирпичей. Во время налетов немцы не пускали «остов» в бомбоубе-

жище. Приходилось прятаться, где придется, и иногда мне казалось, что все уже кончилось: сейчас, сию минуту, свистящая над головой бомба ударит в меня, и ничего не останется, — и не нужно будет ворочать камни голыми руками, не придется больше спать в бараке на нарах и есть суп с капустными листьями...

Катя помолчала, потом слегка потеряла виски своими тоненькими, почти детскими пальцами, и я подумал: неужели вот этими самыми беспомощными руками она ворочала на мостовой камни?

— ...Знаете, мне иногда еще теперь по ночам снится резкий, пронзительный свисток, по которому мы вскакивали на работу. Еще ночь, предрассветный ледяной холод, тяжелый сон, сквозь который продолжаешь чувствовать ломоту и усталость во всем теле, и вдруг этот протяжный, с трелью свисток, возвращение к проклятой жизни!

**
*

И наступил удивительный день, когда свисток не раздался. Наши немецкие надзиратели накануне благополучно сбежали, бомбежка прекратилась еще дня за два до этого, и мы знали, что с минуты на минуту могут прийти американцы. Они пришли только к вечеру, — колонна запыленных джипов с усталыми мальчиками в касках, надвинутых на воспаленные глаза. Спросили, где немцы, и куда-то

уехали, объяснив нам через переводчиков, что мы теперь свободны и скоро вернемся на родину... Так омрачилась моя первая большая радость в жизни, — на родину я возвращаться не собиралась. Рассказ выйдет слишком длинным, если объяснять, почему именно. В общем, вы все это знаете, а самое главное это то, что я была очень молода и очень хотела жить для себя, хотела просто человеческой жизни, а возвращаться домой было страшно: знаете этот старый анекдот, когда надо доказывать, что ты — не верблюд...

Драма началась месяца через три. К этому времени наш лагерь оказался в английской зоне и к нам прибыла советская репатриационная комиссия. Несколько сот человек уехали домой добровольно. Я осталась с теми, кто уехать отказались, и вдруг среди нас обнаружили поляки, не знавшие ни слова по польски, латыши из Тамбова, — у них были какие-то фантастические бумажки с печатями, а те, у кого бумажек не оказалось, прятались от репатриантов в лесу или уходили из лагеря, куда глаза глядят. Вы слышали о насильственных выдачах на основании ялтинского договора? Не знаю, как это рассказывали в американских газетах, но на практике это выходило так: приезжали грузовики с красноармейцами. Лагерь окружали, и люди, считавшие себя смертниками, запирались в бараках, пели «Со святыми упокой», перерезывали себе вены на руках или лезли в петлю: так скоро и, сравнительно, без-

болезненно. Во всяком случае, лучше десяти лет принудительных работ на строительстве.

Англичане выдавали нас холодно, методично и безжалостно. Делегатам от барачников объясняли, что они бессильны, — решение о репатриации Ди-Пи было принято где-то в высших сферах. Для высших сфер мы не были живыми людьми, которых посылали на верную смерть, а попросту неприятной статистикой.

**

Наступила зима. Я хорошо помню, что в этот день выпал первый снег, прикрыл каменную, давно промерзшую землю. Утром я вышла из барака и пошла к канцелярии, — кто-то на ходу мне бросил, что вывешены новые листы репатрируемых, и что за ними сегодня приедут... И первое, что я увидела на листе, было мое имя.

Я прочла его несколько раз, машинально, почти бессознательно, как будто речь шла не обо мне. Ждала этого и боялась. И вот-свершилось. Теперь, сегодня же, через час или два — конец. Опять грузовики с конвойными, теплушки, следственная комиссия, ссылка... Или умереть сразу, — больше никогда не дышать свежим, морозным воздухом, больше никогда не видеть этого белого, чистого снега.

Сейчас очень трудно понять, что происходило

тогда со мной. Помню, я металась по лагерю, — переходила от одной группы к другой и о чем-то говорила с такими же обезумевшими от страха и горя людьми. Потом я повернула к бараку коменданта, покружилась у крылечка, не зная, что предпринять, и машинально вошла внутрь. В сенях сидели солдаты, говорили о каких-то своих делах и, должно быть, один из них рассказал что-то смешное, потому что все покатались со смеха. Как они могут смеяться сегодня, в такой день, когда я хочу умереть? Очевидно, солдатам это не приходило в голову, они жили своей, обособленной жизнью и, верно, им ужасно опротивела война, и лагерь, и они считали нас виновниками того, что их держат в этом тоскливом месте, где нет даже приличного кинематографа или клуба... Один повернул голову и спросил на ломанном немецком языке:

— Вы к дежурному офицеру?

Я не знала, к кому и зачем я пришла, — мне нечего было терять. И я ответила:

— К дежурному офицеру.

Солдат вошел в соседнюю комнату, пробыл там несколько секунд, и потом дверь растворилась, — он пропустил меня в комнату дежурного. Я помню, что комната была чисто выбелена, в углу стояла до красна накаленная печурка, были какие-то полки с бумагами и посреди комнаты — стол. За столом сидел капитан с орденскими лентами на кителе.



В первый момент я его не очень рассмотрела. Ему было, вероятно, лет тридцать пять, может быть и меньше. Лицо было усталое, глаза грустные и на лбу пролегли две глубокие морщины. Позже, когда я тысячи раз старалась вспомнить его черты, мне казалось, что было в его внешности что-то необыкновенное, но что — до сих пор не могу понять.

Он показал на стул, внимательно меня оглядел и помолчал, ожидая, что я скажу.

— Мое имя значится в списке подлежащих репатриации, сказала я.

Он одобрительно кивнул головой и продолжал молчать.

— Я не хочу возвращаться в Россию.

— Почему?

Я сказала, что у меня в России никого не осталось. Нет больше дома и семьи, и я боюсь, — из меня, которую едва не замучали немцы, сделают на родине государственную преступницу, заморят в каком-нибудь концлагере... Мне очень хотелось что-то сделать, броситься перед ним на колени или заплакать, умолять, заклинать, а вместо этого я сидела на стуле, грелась у печки и что-то говорила, а он слушал внимательно и грустно. Тепло разливалось по всему моему телу, я как-то вся разомлела и, под конец, все-таки, заплакала — это случилось, когда я сказала, что покончу с собой, но не уеду из лагеря.

Капитан о чем-то думал. Мне даже показалось, что он не слушает меня и мысленно находится совсем в другом месте, думает о чем-то своем. Кажется, он задал мне несколько вопросов, — кто я, откуда, есть ли у меня родные или жених? Я перестала плакать и отвечала на его вопросы очень односложно и точно. Капитан закурил, между ним и мною образовалась голубоватая дымчатая пелена и остальное показалось мне нереальным, бредовым, — так все это произошло ужасно быстро и неожиданно:

— Я бы хотел помочь вам, сказал капитан. Вы должны перестать быть советской гражданкой. У вас очень мало времени, — репатриационная комиссия прибывает в два часа дня, а сейчас уже около одиннадцати... Очень мало времени, но и это можно преодолеть, если действовать быстро и решительно. Я вижу единственный выход из положения: вы должны стать женой англичанина. Только тогда вас не выдадут.

— Значит, все пропало, вслух подумала я... Никакой англичанин на мне не женится, — да еще сейчас, вот так, немедленно.

— Мое имя — Джэксон. Капитан Хауэрд Джэксон... Если вы хотите, — я могу на вас жениться.

Мне было ужасно жарко, — должно быть от печки. И я не знала, начать ли мне снова плакать, или смеяться. Капитан Джэксон смотрел на меня вопросительно и очень спокойно, и по его глазам я видела, что он не шутит, а выполняет какой-то важ-

ный акт в своей жизни, может быть искупает какую-то вину, или просто хочет сделать доброе дело.

Я раскрыла рот и хотела что-то сказать, но он поднял руку и показал, что еще не кончил:

— ...Я ничего о вас не знаю и вы ничего не знаете обо мне, но в данном случае это не имеет большого значения. Брак наш будет, если можно так выразиться, чисто формальным. Сегодня вечером я вылетаю в Англию и, по всей вероятности, сюда не вернусь. Вы больше никогда в жизни меня не увидите и ничего обо мне не услышите. Я попрошу вас никогда не предпринимать ничего, чтобы найти меня... Вы согласны?

В этот момент я уж не хотела ни смеяться, ни плакать, — я была близка к обмороку. Вероятно, я кивнула головой, потому что он поднялся, попросил его извинить и сказал, что придется обождать несколько минут, — нужно предупредить полковника и лагерного «чэплена». Он ушел, я сидела как каменная, все еще плохо соображая, — на столе тикали небольшие часы в дорожном кожаном футляре, и я отчетливо еще сейчас слышу, как они отсчитывали ход времени. Было, вероятно, около двенадцати. В окно я видела, как дежурные пронесли ведра с дымящимся супом, и к баракам, смешно подпрыгивая на снегу, пробежал лагерный пес «Каштанка»... Начал падать мелкий снег, очень медленно, нерешительно. Тикали часы. Капитан Джэксон не возвращался. С того времени, как он вышел, прошла целая вечность.

* *
*

Дверь отворилась и в комнату вошел полковник, еще молодой, с седеющими висками и коротко подстриженными усами, и священник в военной форме с крестом на рукаве. Хауэрд был третьим. Полковник приветливо улыбнулся, подал руку и поздравил. Он спросил, как «спеллируется» моя фамилия, — этого слова я сразу не поняла, я тогда еще плохо говорила по-английски.

Они позвали из передней сержанта, который присел за пишущую машинку и под диктовку полковника написал акт о вступлении нашем в брак. Мы стали у стола. Полковник прочел акт и спросил, согласны ли мы, и при этом быстро взглянул на Хауэрда, который твердо ответил, что согласен и, должно быть, я тоже ответила, — но теперь не могу вспомнить. Священник что-то прочел из молитвенника, сказал несколько слов, и нас поздравили. Я стала миссис Джэксон, женой английского офицера, и с этого момента никакие репатриационные комиссии мне не были страшны...

Полковник пригласил нас к себе на завтрак. Он жил в частном доме, по соседству от лагеря. Я молчала, ничего не ела и почти ничего не понимала, — офицеры говорили между собой о вещах мне чуждых и непонятных, и только в конце обеда, когда

подали вино, полковник провозгласил тост за новобрачных, — все встали и чокнулись с нами.

Около двух часов дня сержант доложил, что прибыла советская репатриационная комиссия, ожидающая в канцелярии. Полковник извинился, — ему нужно присутствовать при операции. Мой муж взглянул на часы и, в первый раз за все время, с видимым смущением сказал:

— Мне нужно идти укладываться... На аэродром следует приехать заранее. Простите, я тоже вас оставлю. Вы больше ничем не рискуете. Вам будет выдана копия брачного свидетельства. Желаю счастья...

Он пожал мне руку и вышел. И я ушла, но не в лагерь, у ворот которого уже стояли советские грузовики, а куда-то прямо перед собой. Я шла по заснеженным улицам полуразрушенного германского городка и повторяла имя моего мужа. Я отдала бы в эту минуту все на свете, чтобы он остался со мной навсегда.

Не знаю, что стало с Хауэрдом Джэксоном. Не знаю, где он, что с ним. Все это теперь — как в тумане, и временами мне кажется, что я не узнала бы при случайной встрече на улице человека, который спас мне жизнь.

ЛОКОН НАПОЛЕОНА

МАГАЗИН на Пятом Авеню был своего рода храмом для любителей старинных вещей. Торопливые покупатели сюда не заглядывали, -- приходили люди положительные, при деньгах. Вещи были музейные, редчайшие, большей частью привезенные из Европы. Многие из них имели свою историю, упоминались в каталогах, и имена их бывших владельцев прозвучивали продавцами вполголоса, тоном почтительным и доверительным.

Были здесь гобелены королевской мануфактуры, когда-то украшавшие стены французских замков, итальянские Мадонны неземной и немного греховной красоты, северский фарфор, эмаль Фаберже и потемневшие от времени новгородские иконы.

В витринах под толстым стеклом лежали золотые портсигары с царскими вензелями, тяжелые кубки, на которых старинной славянской вязью московское дворянство свидетельствовало Его Величеству свои верноподданнические чувства, были осыпанные алмазами табакерки и много других вещей, неведо-

мыми путями ушедших из дворцов и попавших, наконец, в антикварный магазин на Пятом Авеню.

Как-то под вечер, в тихий час, в магазин вошла дама в черном. Продавец почтительно с ней поздоровался, — продавцы здесь держали себя изысканно вежливо и, к тому же, даму с первого взгляда оценили — принадлежала она к разряду серьезных покупательниц.

Она сказала, что хочет посмотреть вещи, — продавец сочувственно и понимающе улыбнулся. Дама сделала несколько шагов и остановилась у витрины наполеоновских реликвий. В витрине были вещи, купленные когда-то в Париже, на аукционе, из коллекции историка Наполеона Луи Массона: часослов императрицы Марии Луизы, неплохая миниатюра Императора на слоновой кости, хрустальные флаконы Жозефины с золотой монограммой, и еще что-то — но дама смотрела, не отрываясь, только на одну вещь — овальный медальон с локоном волос, перевязанным пожелтевшей от времени атласной ленточкой.

Продавец выждал несколько мгновений, — дама смотрела на медальон не отрываясь, как зачарованная. Убедившись, что покупательница нашла нужный предмет, он заговорил мягко и немного певуче, как гиды во французских музеях:

— Локон Наполеона... Перед тем, как отправиться на остров Св. Елены, император собственноручно срезал этот локон и передал его на память

императрице Марии Луизе, которая хранила его несколько лет. Уже после кончины Наполеона, медальон при неизвестных обстоятельствах перешел во владение сестры императора, принцессы Полины, в семье которой он находился...

Дама слушала очень рассеянно, и продавцу показалось, что она давно знает все, что он говорит, — ей не нужно удостоверение, написанное рукой Луи Массона, — этот медальон с локоном императора был ей знаком, близок, необходим. Продавец украдкой посмотрел на лицо дамы, — может быть, — из семьи Бонапартов, хотя — кто же? Конечно — нет, дама была американка, — ничего французского ни во внешности, ни в акценте. Просто богатая женщина, которая хочет сделать подарок, или приобрести редкую вещь для своей витрины с табакерками и веерами...

— Можно посмотреть медальон? спросила дама.

Теперь медальон лежал у нее в руке, — два овальных стеклышка, соединенных тоненьким золотым ободком. Локон был виден с двух сторон, волосы были пепельного цвета и от времени на шелковой ленточке выступили чуть заметные бурые пятнышки.

Дама в черном сняла с руки замшевую перчатку и слегка погладила медальон, осторожно потрогала ободок и снова, словно загипнотизированная, начала смотреть на локон.

— ...Это музейная вещь, мадам, продолжал говорить продавец, и я хотел бы обратить ваше внимание еще на футляр, — медальон всегда лежал в этом бархатном футляре, на котором вытиснено золотом клеймо ювелира: Биэннэ, золотых дел мастер, поставщик Двора Е. В. Императора, 119 рю Сэнт-Онорэ, Париж.

Дама продолжала молчать. Замолчал и продавец, — он сказал все, что знал, и теперь старался вспомнить, не забыл ли чего-нибудь интересного? Потом покупательница спросила:

— Сколько стоит этот медальон?

Медальон стоил 300 долларов. По лицу покупательницы прошла легкая тень недовольства, — цена показалась ей слишком высокой. Собственно, торговаться в этом магазине не следовало. Предполагалось, что любая цена для клиента доступна, — важно только, чтобы понравилась вещь, а о деньгах говорили вскользь и неохотно, как о чем-то в высшей степени незначительном и даже унижающем достоинство покупателя и продавца.

Дама все же попросила сбавить цену. Это было неожиданно и немного обидно, но продавец сказал, что хотя вещь — музейная, уникал, — в исключительных случаях, желая доставить удовольствие клиентам, владельцы магазина готовы пойти на жертву. Размер жертвы был тут же назван и на этот раз дама — впервые за все время — улыбнулась,

— улыбкой этот весь неприятный и мелочный разговор о деньгах был закончен.

Несколько новых, хрустящих бумажек легли на стол. Продавец пересчитал деньги и подумал, что напрасно он, всетаки, уступил, — дама все равно купила бы наполеоновский медальон. Но жалеть было поздно, — теперь оставалось только завернуть бархатный футляр и вручить его владелице. В эту минуту дама спросила:

— Можете вы открыть медальон и вынуть волосы?

Продавец удивленно посмотрел на даму. Открыть медальон? Но для чего?

— Мне эти волосы не нужны, невозмутимо сказала покупательница. Можете делать с ними, что хотите...

Такого ответа продавец, во всяком случае, не ожидал... Выбросить локон Наполеона!

— Сударыня, сказал он тихим и слегка дрожащим голосом, вы, собственно, платите деньги за этот локон. Медальон очень красив, но большой цены он не имеет...

На лице дамы снова появилась улыбка:

— Красив, правда? Вот поэтому я его и покупаю... Нет, положительно, можете делать с локоном, что вам угодно!.. Мне нужен только медальон. Я поставлю в него фотографию мужа. По моему, это будет очень мило...

Что стало с медальоном в дальнейшем — неиз-

вестно. Но локон императора, завернутый в пергаментную бумагу, и по сей день лежит в нескораемом шкафу антикварного магазина на Пятом Авеню.

Несмотря на удостоверение историка Луи Массона, его никогда не показывают любителям старины, — магазин серьезный, и кто же поверит, что Наполеон мог послать свой локон императрице, попросту завернув его в пергаментную бумажку?

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

АРБУЗЫ

НА татарских баштанах арбузы поспевали рано, в самом начале июня. Были они небольшие, темно-зеленые, с полосами, и почему-то в Крыму называли их монастырскими. Первый арбуз приносил служивший у нас на побегушках татарчонок Фитка. На лице его была широчайшая улыбка, когда он бережно передавал арбуз матери и говорил:

— Пожалуйста, кушай на здоровье. Отец Ибрагим прислал. Сам прийти не мог в гости. С ружьей баштан сторожит...

Фитка получал новенький гривенник, который немедленно исчезал в его бездонных татарских штанах с мотней, и еще раз обнажал свои великолепные, белые зубы.

— Сладкий будет. Рафинад!

Этот первый арбуз резали за столом торжественно, священнодействуя. Но по настоящему арбузный сезон начинался только в июле, когда наступала тропическая жара. Нога уходила в размягчен-

ный асфальт, на листьях отцветших акаций лежала густая пыль и даже на лошадиных головах днем появлялись широкие войлочные шляпы. В эти дни вся зелень на баштанах сгорала. Арбузы дозревали на раскаленной, потрескавшейся земле, и от них шел пряный, сладкий дух.

Сколько их было! За товарной станцией, на запасных путях, выгружались привозные, астраханские кавуны. Босяки-грузчики выстраивались цепью и белые, полупудовые арбузы летели из рук в руки легко, как мячи. Работали ловко, ровно, без лишних разговоров, и только слышно было, как хлопали ладони грузчиков по тугой, звенящей арбузной корке. В полдень становилось так жарко, что от зноя уже не спасали мокрые мешки, надетые на голову. Старший в артели приказывал:

— Покончим вагон, ребята, и майна-стоп! Шабашить будем.

Когда останавливали, наконец, работу, грузчики первым делом подходили к фонтану и, припав губами к крану, долго и с наслаждением пили холодную воду, стекавшую им за шиворот и на грудь. Потом уходили в холодок, к хлебным амбарам. Закусывали, не торопясь, жирной таранью. Сначала ее били о камень, чтобы как следует размягчить, а потом разрывали в длину, от хвоста до головы. Появлялись разносчики, торговавшие горячими пшенками, жареной рыбой и ледяной бузой. Выбирали арбузы долго, с видом знатоков, щелкали по

корке, прислушиваясь к звуку, словно настраивали скрипку и, наконец, легко стукали арбузом о рельсу или о камень. Раздавался хруст, кавун разваливался на рыхлые, кроваво-сочные куски, и никогда я не видел, чтобы грузчик ошибся в своем выборе и попал на зеленый.

Арбуз ели долго, утоляя мучительную, июльскую жажду... Обгладав кусок, презрительно отбрасывали корку подальше, куда придется, — так до самой осени корки эти гнили на путях, плавали в порту, вместе со всякой дрянью, пустыми бутылками, дохлыми медузами, щепками и соломой.

Покончив с едой, грузчики укладывались на мешках отдыхать. Старики засыпали сразу и начинали могуче храпеть. А молодежь собиралась вокруг гармониста, который лениво перебирая планки пел похабным голосом:

Ах вы мущины,
Вы гордые павлины,
Пред нами, орлами,
Вы ходите вокруг...

— Небось, у Соньки Беззубой выучился? гоготали ребята.

Я знал эту девушку, Соньку Беззубую с Карантинной слободки. Как-то под пьяную руку матросы выбили ей передние зубы, и с тех пор за Сонькой и утвердилась эта кличка.

К вечеру, когда спадал зной и ветер менял направление, — он дул уже не с моря, а с гор, нагруженные арбузами телеги тянулись через весь город на Привоз, где высились горы огурцов, огненных помидор, где из корзин с янтарной шаслой устраивали целые бастионы.

В эти годы мне казалось, что египетские пирамиды — игрушки по сравнению с теми сооружениями, которые воздвигались базарными торговцами из арбузов... Если бы кто-нибудь сказал мне или моему другу Фитке, что существуют на свете страны и города, где арбузы продаются не вагонами, не баржами, и не сотнями, а ломтями, — мы, вероятно, долго смеялись бы этой веселой шутке.

Конечно, и у нас, на юге, были люди, покупавшие для дома один — единственный арбуз. Но на Привоз за такими пустяками человек не шел, он заглядывал в фруктовую лавку, выбирал, щелкал, прикладывал ухо и еще требовал сделать надрез. И фруктовщик Кефели тремя ударами ножа вырезал треугольник и с торжеством подавал покупателю пробу, — так палач в средние века показывал толпе отрубленную им голову... Убедившись, что арбуз красный, надрез закрывали тем же треугольником и покупатель тащил свою покупку домой. А Кефели, очень довольный тем, что продал хорошему человеку хороший товар, отправлялся к соседу Цыпке-цырульнику, поговорить о политике. Цыпка был маленький, толстый грек на коротких ножках, с бараньими глазами...

Впрочем, он не имеет к рассказу никакого отношения.

**
*

Приближался день, которого мы ждали с волнением: мать собиралась на Привоз за арбузами для засола.

Вперед, в качестве разведчика и знатока этого дела, отправлялся Фитка. Ему поручалось выяснить, много ли на Привозе хороших арбузов, и не ждут ли к вечеру свежих?

Фитка гулял по базару с видом покупателя-оптовика, щелкал по кавунам, мимоходом отщипывал на пробу виноград, и татары гнали его, осыпая страшными проклятиями.

Выслушав все ругательства и наевшись винограда и слив, Фитка возвращался домой и давал благоприятное заключение: не кавуны, а рафинад. После этого мать отправлялась за покупками и часа через два приезжал нагруженный воз: заодно с арбузами была куплена корзина винограда, несколько ящиков с зеленью и клеть с цыплятами... Отец сердился, — во дворе и так уже нельзя пройти из за бесчисленных цыплят, кур, уток и индюков, но мать говорила, что за стол каждый день садится шестнадцать человек, и что меньше чем цыпленка на человека в ее доме не подают.

На следующий день на кухне с утра шли приго-

товления. Из кладовой выкатывали одну из бесчисленных бочек, в которых на зиму готовилась всякая снедь. Начинали с огурцов и красных помидор, потом солили арбузы. В октябре наступала очередь зеленых помидор, острых как уксус, потом мочили яблоки «Синап», а по первому морозу начинали шинковать капусту. С утра до ночи на кухне стучали ножами, и тогда я наедался сладкими кочерыжками до резей в желудке.

Арбузная бочка была старая, потемневшая от времени, и казалась она мне огромной. С годами понятия о размерах меняются. Возможно, теперь я отнесся бы к ней с полным безразличием, но в те годы я мог достать до ее краев, только взобравшись на табурет. Бочка казалась мне громадной, бездонной и вызывала уважение.

Бочку мыла и скоблила кухарка, терла ее с ожесточением, и почему то злобно кричала на меня за то, что я, коротая время, пытался утопить в тазе с мыльной водой наловленных на занавеске мух.

Когда все было готово, мне и Фитке поручалась чрезвычайно ответственная задача: таскать из погреба на кухню арбузы. Их мыли, вымазывали горчицей, укладывали рядами в бочку, посыпали какими то специями, перекладывали укропом и, под конец, заливали рассолом.

В последнюю минуту мать попробовала рассол и сказала:

— Соли мало положили... А ну-ка, давайте мне соль!

Я был хороший, услужливый мальчик. Я немедленно полез в кухонный шкаф, с трудом прочел на коробке первые две буквы «со...» — дальше читать было бесполезно, отсыпал стакан соли и подал его матери.

Содержимое стакана добавили к рассолу и вылили его в бочку. Потом прикрыли арбузы деревянной крышкой и, чтобы они не всплыли, придавили тяжелым булыжником, обмытым крутым кипятком.

Теперь оставалось ждать.



Ждать пришлось недолго.

Через неделю в доме стали происходить странные вещи. Сначала пришла жаловаться кухарка, — на кухне, дескать, стоит тяжелый дух. Мать удивилась, немного обиделась, и пошла проверить: в приличном доме таких вещей не бывает.

На пороге кухни она остановилась, слегка побледнела и отшатнулась.

Дух был, действительно, тяжелый.

Созвали семейный совет. Откуда взяться такому смраду? Фитка и я были подвергнуты допросу с пристрастием, который не дал никаких результатов: наша совесть была абсолютно чиста. Мы не пытались

делать гадостей кухарке, которая кормила нас шкварками и разными другими вкусными вещами.

Отец решил, что где то сдохла крыса, и что из профилактических целей нужно разобрать пол и обнаружить местонахождение падали.

— Чего же крысе дохнуть? — недоумевала кухарка. Крысы у нас здоровые, живучие, провизии есть сколько угодно. По мне, извините, барыня, это ваши арбузы завонялись! От бочки так и преть, так и преть...

Арбузы?!

Это были арбузы. Целый воз арбузов, симметрично и заботливо разложенных в бочке, мирно гнил у нас на кухне, — и это в самый разгар холерной эпидемии.

Днем обеда не было. Кухарка бросила передник и ушла, заявив, что пока холеру не уберут из кухни, она на работу не вернется. Мать сидела в спальне, плакала и прикладывала к голове полотенце, смоченное уксусом. Отец отправился искать золоторотцев, которые бы взялись вывезти гниль из нашего дома. Они пришли, заглянули в бочку и сказали:

— Тут товару будет на пять рублей. Меньше не возьмем.

Бочку увезли.

Кухарка вернулась к вечеру и решила вымыть пол горячей водой с содой. Взяла из шкафа коробку и сказала:

— Что это, вся наша сода вышла? Еще на про-

шлой неделе пол коробки оставалось... Вы, барыня, брали?

— Нет...

Дети никогда не должны вмешиваться в разговоры взрослых и отвечать на их нелепые вопросы. Но я был честный и прямой мальчик, и я сказал:

— Христя, это не сода. Это — соль. И когда арбузы солили, я вам ее и подал. И не пол коробки там было, а всего один стакан.

Тайна гнилых арбузов раскрылась: вместо соли по моей вине в рассол насыпали соду.

К великому огорчению Фитки, меня за это не выпороли. Но кара была жестокая: после этого случая арбузов в нашем доме не солили. И я думаю, что никогда больше в жизни мне не придется отведать таких арбузов, которые готовила дома мать, — острых, пахнущих укропом и лавровым листом, напоенных солнцем с татарских баштанов.

ПАРАД, АЛЛЭ!

КАК-ТО мой приятель, жонглер Максимилиан Труцци показывал мне книгу «Советский Цирк». Много в этой книге было забавного и интересного, — история знаменитых циркачей, рассказ о том, как Дуров дрессирует животных, автобиографические очерки клоунов и акробатов. Долго мы любовались старой цирковой афишей, которая висела лет сорок назад на улицах провинциального русского города:

**Большой Европейский
Зверинец
Шотландский Цирк
— и —
Театр Обезьян.
В зверинце будут даваться
ежедневно большие
эффектные представления**

Дальше следовало много заманчивых и соблазнительных вещей. По случаю своего бенефиса маде-

муазель Варя исполнит стипль-чез на лошади. Мист-физиономист г. Генрик покажет всевозможные типы национальностей. Летящая дама в маске. Дамаска и Чу, или два веселых китайца. Четыре Леотаровых, чудо воздуха. Лошадь апортер. И, в заключение, оркестр духовой музыки исполнит «Граф Люксембург в волнах страстей»...

Поверите ли, — мне ужасно стало жаль, что все это было чуть ли не полвека назад, и что я не смогу побывать на бенефисе мадемуазель Вари и полюбоваться «кордебалетом в исполнении дам цирка»... Как объяснить удивительную, притягательную силу цирка? Может быть все дело в том, что это — один из наиболее точных и законченных видов искусства: здесь малейшая неосторожность в движении, упущенное мгновение, плохо рассчитанный жест, ведет к смерти. Может быть тем, что это — единственное место, где зритель переживает полностью все, что происходит на арене: закрывает в ужасе глаза во время двойного сальто-мортале без сетки и хохочет до слез над выходами рыжего клоуна. Какой театр может дать подобную полноту и разнообразие переживаний, и где еще зритель бывает так близок к кулисам, как в цирке?

Я был еще совсем маленьким, щуплым мальчиком, когда в город приезжал «с разрешения местного начальства» Цирк Вяльшина. На афишах были изображены лошади, вставшие на дыбы, и элегантный шталмейстер во фраке с бичом, — и как упои-

тельно он щелкал этим бичом! Высшей мечтой каждого мальчика было раздобыть такой бич и научиться щелкать им сухо и коротко — это должно было звучать, как выстрел из пистолета. Цирк устраивался на Сенной площади. Стены составляли из деревянных щитов, при чем дирекция тщательно заботилась о том, чтобы в досках не было дыр и трещин, — подсматривать бесплатно с улицы было трудно. Цирк устанавливали какие-то мрачные люди в вязанных фуфайках и в кепках, надвинутых на глаза. Они ставили скамьи, натягивали парусины вместо крыши, вбивали колышки, и время от времени свирепо кричали:

— Мальчики, не крутитесь под ногами!

И нам было обидно, что эти цирковые люди не понимают нас и не хотят воспользоваться нашей помощью.

В день открытия по улицам города проходил парад, — в колясках ехали красивые цирковые дамы в ярких шелковых платьях, вели лошадей под нарядными попонами, рыжий тащил за собой на веревке собачку, сделанную из тряпок, и в самом конце процессии ехал извозчик с местным оркестром Хазунзуна, который был нанят в подмогу цирковым музыкантам по случаю «гала-спектакля».

А ночью мы стояли у дверей цирка, дрожа от волнения, стараясь во что бы то ни стало проскользнуть внутрь зайцем. Почему именно зайцем? Билет на галерку стоил 20 копеек, и эти 20 копеек можно

было раздобыть, но мы считали это ниже своего достоинства: нам казалось, что настоящие знатоки цирка должны проходить зайцем, с риском быть пойманными и избитыми. Мы стояли часами, ожидая случая, — может быть, нужно будет помочь, пронести что-нибудь во внутрь, или просто зазевается билетер? В ворота, ярко освещенные двумя газовыми фонарями, уже валила толпа, изнутри доносилась бравурная музыка, взрывы смеха, и мы с тоской и отчаянием думали, что спектакль-гала уже начался, что мы пропустили номер высшей вольтижировки, — сейчас выйдут на арену Четыре Чорта, потом будут шотландские жонглеры-эксцентрики Иванцовы, и мы не увидим самого интересного... И как-то в один из таких отчаянных моментов, когда все уже казалось потерянным, из темноты вышел гигант в широком пальто, взял меня за шиворот и спросил:

— Мальчик, в цирк хочешь? Вот тебе десять копеек. Пойди в аптеку, купи бутылку Боржома и принеси его ко мне на конюшню. Спросишь чемпиона Украины Стыцуру. Понял? Обманешь, — поймаю и сверну шею...

Так я познакомился с моим будущим учителем греко-римской борьбы.



Борьба начиналась во второй половине про-

граммы, в одиннадцатом часу вечера. Оркестр играл марш «Вступление французов в Москву в 1812 году», а затем на арену выходил во фраке с бесчисленными орденами темного происхождения арбитр Алеев. Пройдя через всю арену он останавливался, величественно снимал цилиндр, давал свисток, которому мог позавидовать любой городской, и густым басом командовал:

— Парад, аллэ!

Что могло сравниться по красоте с этой минутой?! Под звуки марша на арену выходили наши кумиры, — люди со сказочными и уродливыми бицепсами, сломанными ушами, низколобые, угрюмые тяжеловесы. Худых и красиво сложенных борцов я почти не помню. Они были в разноцветных трико, в медалях, почетных поясах, лентах. И пока борцы проходили вокруг арены под звуки марша, ступая тяжело, как медведи, — цирк гремел от рукоплесканий. Знаменитого столичного арбитра «дядю Ваню» мы знали только по наслышке, но, верно, Алеев во многом ему подражал, певуче представляя своих борцов:

— Мэжду... народный чемпионат греко-римской борьбы с участием лучших мировых сил... на звание чемпиона мира и чемпиона России... (тут делалась значительная пауза, — вероятно для того, чтобы весь мир и вся Россия могли услышать о том, что судьба чемпионата решится именно в Феодосии, а не в какомнибудь ином городе)... Первый приз —

тысяча рублей и золотая медаль от цирка Вяльшина... Борьба ведется по международному кодексу, с запрещением незаконных приемов и зажимов... Дитя волжских степей, чемпион Поволжья — Рыбаков!

Рыбаков поднимал руку в жесте, которому мог позавидовать любой римский гладиатор и выходил на арену с таким видом, будто сейчас, сию минуту, на него бросятся все борцы вместе... Когда стихали аплодисменты, арбитр продолжал представлять своих питомцев:

— Чемпион черноморского флота, пропивший моряк Посуныкко...

С галерки раздавался неистовый свист и какой-то подгулявший мастеровой кричал:

— Посуныкко, засунь-ка!

— Паапрашу соблюдать осторожность: восточный человек, чемпион Грузии и Азербейджана Шота Чалидзе!

Шота выскакивал вперед, как горный ягуар и, утрируя свой акцент, кричал:

— Хачу баротьяся! Арбитр, давай минэ баротьяся Абдулаева!

— Татарин Абдулаев сегодня занят: он торгует виноградом на волнорезе...

Шота с негодованием оборачивался в сторону довольной и развеселившейся галерки, грозил кому-то кулаком и, чтобы доказать свою свирепость, все кричал, что он хочет Абдулаева... И так они выходили один за другим, вызывая рукоплескания, сви-

стки и прибаутки, и в самом конце представляли десятипудового чемпиона Украины Стыцуру, — человека с маленькими свиными глазками и короткой, апоплексической шеей. Казалось, голова его начинается прямо на плечах и Стыцура уверял, что это преимущество, — ему нельзя давать «макарон», т. е. наотмашь бить по шее, когда он делает на четверенках стойку. Ничего человеческого в его облике не осталось. Была громадная туша, пуды мяса и мускул, и было непонятно, откуда у этого толстяка столько легкости и поворотливости? Как и все цирковые борцы, он был порядочным фигляром и когда его клали на обе лопатки, — гонялся по арене за своим противником со страшной руганью, грозя, что убьет, разбрасывал в разные стороны шесть шталмейстеров, которые делали вид, что хотят схватить его, но успокаивался мгновенно по свистку Алеева. А на конюшне, после спектакля, вытирая свое громадное, вспотевшее тело полотенцем, он спокойно говорил победителю, которого за минуту до этого хотел «убить»:

— Сережка, гроши есть? Пойдем в Приморский Ресторан пиво пить... Пойдем, а? Ты же мне, сволочь, ухи наломал!

Но это было уже в самом конце вечера, а сейчас на арене заканчивался парад, и борцы снова проходили под звуки марша. На опустевшей арене оставались только те, кому предстояло бороться, и Алеев объявлял:

— Двадцатиминутная борьба на премию в пятьдесят рублей, предложенную местным любителем-меценатом. Спасибо, данке, мерси... Первая пара: борец Катыр-Гулям против чемпиона Прибалтики Петерсона... Вторая пара: бывший ломовой извозчик Колосов, против Черной Маски... Третья пара: чемпион Украины Стыцура против знаменитого силача Збышко-Цыганевича... Первая пара, — на середину! Прошу соблюдать абсолютную тишину, не вмешиваться в борьбу и ничего не бросать на арену. Желая избежать обвинений в пристрастности, папрашу почтеннейшую публику назначить от себя второго арбитра...

Десятки голосов начинали кричать:

— Барсова просим... Барсов, иди!

Барсов был портовый дрогаль, силач и пьяница, великий любитель и знаток греко-римской борьбы. По традиции, он ломался, пока настойчивый крик не превращался в рев, и только после этого спускался вниз на арену, пожимал руку Алееву и важно расправлял унтер-офицерские, пышные усы. Во время революции Барсов сделал блестящую карьеру, — стал вдруг комендантом города, но продолжал ходить в цирк и быть арбитром. Только в зените своей политической славы, выходя на арену, он отстегивал офицерскую шашку, снимал с пояса две гранаты и требовал, чтобы ему дали столик и стул: коменданту полагался почет.



Однажды, когда мы угодливо вертелись в уборной вокруг борцов, ожидавших выхода, Стыцура вдруг спросил:

— Хлопцы, а бороться вы умеете?

Конечно, мы боролись между собой в большую перемену, на песке, но это была убогая, любительская борьба, грех юных лет, в котором стыдно было признаться такому человеку, как Стыцура. Гигант подумал немного и сказал:

— Хлопцы, через три недели мой бенефис... Хорошо, а что я покажу? Ну, штанги. Сгибание подков голыми руками и разрыв веревок простым напряжением мускулов... Скажем, еще автомобиль через меня переедет с шестью почтеннейшими зрителями... А дальше? А дальше я вас, стервецов, покажу: школа юных учеников Стыцуры... Годится?

Мы молчали, ослепленные неожиданным счастьем. Но кто-то из стоявших поблизости борцов едва не погубил нашу карьеру:

— И охота тебе возиться с этими...? В них и тела нету, и бороться не умеют. Помидорами закидают...

Но упрямый Стыцура сказал, что он научит нас бороться в три дня, и что на афише это будет выглядеть роскошно... На следующий день, после гимназии, мы явились прямо в цирк на первый урок греко-римской борьбы.

Была зима, дул свирепый норд-ост. Парусиновая крыша хлопала, все здание сотрясалось и внутри гулял ветер. Стыцура приказал нам раздеться, — мы остались в одних летних купальных трусиках. Мы стояли на убогом ковре, дрожа от холода, со стыдом поглядывая на свою гусиную кожу. Стыцура поманил меня пальцем и сказал:

— Ну, ты, подходи... Иди медленно, с фасоном. Голову нагни. Пожал руку, разошлись, быстро вертайся назад и теперь ты готов...

Тяжелая лапа Стыцуры упала на шею, пригнув меня к земле. Он сделал какое-то быстрое движение, тело мое мелькнуло в воздухе и через секунду я оказался на ковре, оглушенный и сконфуженный.

— На середину! командовал Стыцура.

Я вышел на середину, он подержал меня одну секунду за руки, зажал одну, сделал быстрый поворот, и я снова полетел куда-то в пространство, через его голову, в сторону лож у барьера.

— Це будет прием тур-де-бра, объяснил чемпион.

И так он калечил нас несколько дней подряд, но что за счастливые это были дни! Мы забросили учење, начали «бартыжать», пропуская гимназические уроки и целыми днями боролись между собой, пробовали мускулы, начали ходить в развалку, как заправские профессионалы. Дома я вдруг подходил к напуганной и ничего не понимавшей матери,

по бычьей опускал голову, рычал, пробовал на ней новый прием, и затем торжественно объявлял:

— Чемпион Феодосии и окрестностей Седых поборол своего противника на двенадцатой минуте, приемом тур-де-тет!

И мать в ужасе садилась в кресло, не понимая, что стало с ее тихим мальчиком, который теперь говорил о каких-то двойных нельсонах, давал «макароны» четырехлетней племяннице Ганночке, оглашавшей дом громкими воплями и требовал, чтобы кухарка, приготовившая на обед котлеты, убиралась «на конюшню».

**
*

Все это кончилось неожиданным и постыдным образом.

Накануне бенефиса Стыцеры, когда во всем городе уже висели афиши, извещавшие о предстоящем грандиозном событии и о борьбе учеников чемпиона Украины, мы явились в цирк на последнюю репетицию.

Цирк был пустой. До вечернего представления оставалось еще несколько часов, и артисты разошлись отдыхать. Откуда-то издали доносился истошный крик дрессированного тюленя, который требовал кормежки. Пахло сырыми опилками, конским навозом, всеми острыми запахами цирка... Мы репетировали выход: шли гуськом, обходили всю

арену и затем выстраивались полукругом посередине ковра, скрестив на груди руки и пыжась, чтобы были видны несуществующие мускулы. И в тот момент произошло нечто ужасное, непоправимое: в дверях цирка показался отец.

Кто-то предупредил его на Фонтане о предстоящем позоре. Сын журналиста, сын почтенного человека, будет бороться в цирке в бенефис Стыцтуры? Отец не поверил, но для очистки совести решил зайти в цирк.

Он стоял и молчал и я молил Бога, чтобы сейчас, сию минуту, крыша цирка обрушилась на нас, только чтобы все скорее кончилось. Отец внимательно поглядел и, наконец, тихо и просто сказал:

— Сынок, пойдем домой. Одевайся.

Я оделся, он взял меня за руку и вывел из цирка. Я не помню, светило ли в этот день солнце. Но в душе у меня было темно и тоскливо. Мне казалось, что я не переживу этого позора, что жизнь моя кончилась, что никогда, никогда из меня не выйдет борца. И это было так больно и так горько, что я шел по улице как слепой, и мои соленые слезы капались по лицу и падали на серую, гимназическую курточку.

ЧЕБУРЕКИ

РАЗГОВОР по телефону вышел долгий и тягучий, — моя собеседница хотела узнать все парижские новости. Потом мы говорили о погоде и о последнем концерте Кусевицкого, — дама с Кусевицким не была знакома, но почему-то, как это делают заядлые музыканты, фамильярно называла его «Куси-Куси». И, под конец, когда уж решительно все темы были исчерпаны, спросила:

— А что вы делаете сегодня вечером?

— Иду есть чебуреки.

Дама выдержала паузу, — ей, видимо, не хотелось признаваться в своем невежестве. Все же, она поставила наводящий вопрос:

— А с чем это едят, чебуреки?

Я мог бы объяснить, что чебуреки ни с чем есть нельзя, ибо присутствие всякой иной еды на столе может только испортить удовольствие, но это было бесполезно: дама на режиме, питается лимонным соком, разными травками, и ей чужда гастрономическая поэзия. Вместо этого я коротко попрощался,

повесил трубку и, закрыв глаза, начал вспоминать, как ели когда-то чебуреки в Крыму.

Приезжие москвичи ели чебуреки по ночам, после симфонического концерта, и обязательно шли для этого на поплавок Паша-Тепэ. Море фосфорилось, любовные парочки бродили по Мостику Вздохов, в темноте на Екатерининском проспекте ровно шумели тополя, и москвичи чувствовали, что они в Крыму и наслаждаются жизнью. Настоящие, коренные крымчаки Паша-Тепэ не долюбливали и знали, что лучшие чебуреки можно получить в погребке у татарина, на Гюбенетовской улице. Мы приходили в этот погребок с детства, еще будучи гимназистами. Татарин стоял в углу, у плиты, раскатывал тесто, выделывал на наших глазах чебуреки. Минут через пять вскипало масло, чебуреки с шипеньем ныряли в котелок и в одну минуту были готовы. Татарин приносил полпорции, шесть штук, ставил на стол и говорил сурово:

— Давай пятнадцать копеек!

Это было дорого, в особенности для наших тогдашних мальчишеских карманов. В порту громадный чебурек стоил всего две копейки, но мальчишки уверяли, что их делали из собачьего мяса. Не знаю, — портовые чебуреки я тоже очень любил. Но в погребке они были особенные, пухлые, подрумяненные, с огня. Настоящие знатоки ели их прямо руками, — нужно было осторожно поднести чебурек ко рту, надкусить один конец, и тогда в рот лился го-

рячий бараний бульон с петрушкой. Профаны из Паша-Тепэ деликатно резали чебурек ножом, прокалывали его вилкой, и теряли лучшее, — бульон оставался у них на тарелке... Покончив с чебуреками, выпивали чашечку сладкого турецкого кофе с каймаком, — половина кофе, половина гущи, потом стакан ледяной воды и шли гулять.

Развлечений было сколько угодно. На Гюбенетовской, под акациями, мальчики играли в ашики, — тот кто не держал в руках мешочка с ашиками никогда не поймет священного волнения, которое мы испытывали... И слова были особенные, татарские, смысла которых мы не понимали, но которые тщательно произносились перед решительным ударом, как какое-то заклинание:

— Дип наш ортанаш, калдушмерим наш...

Игрок закрывал один глаз, прицеливался, вращая между двумя пальцами заведомый, непобедимый ашик со свинчаткой и, выпуская его по кону, кричал:

— ...Соничка алчик тал!

Что за Соничка, — откуда она взялась — никто не знал, но так было принято, и без этого нельзя было обойтись.

За акациями были рельсы, железнодорожное полотно, потом амбары, в которые ссыпали пшеницу, и какие-то старухи с карантинной слободки, метелочками подметали рассыпанное по дороге зерно и собирали его в торбы, — это был бесплатный корм

для птицы. Одна старуха была своего рода знаменитостью. Должно быть, в незапамятные времена, с ней случился грех, но что именно произошло, никто уж не помнил. Осталась лишь фраза, с которой гимназисты неизменно к ней обращались:

— Бабка; сало украла?

Старуха бросала метелочку, выпрямлялась и отвечала:

— ... и мясо!

После чего она совершенно виртуозно начинала нас ругать, и ругала так сочно и крепко, что дрогали, ехавшие в порт, на мгновение задерживали лошадей, чтобы послушать, одобрительно кивали головами и говорили:

— Ну и бабка... Паразит!

Поговорив с бабкой, можно было отправиться на пристань ловить бычков, но для этого нужно было предварительно запастись рачками.

Рачками торговал хозяин «Ласточки» Павло. Он сидел целый день на солнцепеке, в своем баркасе и ждал рыболовов. Когда приходил покупатель, Павло вытаскивал из воды корзину, накрытую куском парусины, запускал в нее свою заскоруждую руку и вытаскивал пригоршню подпрыгивавших, колючих рачков.

Во всем мире их зовут креветками, но у нас почему-то это были рачки. Пригоршня стояла пятак. Павло презрительно смотрел на наши удочки с самодельными грузилами и говорил:

— Мерикопа поймаешь!

Поймать мерикопа считалось верхом позора, — это значило зацепить крючком за камень, и тогда погибало все, — и грузило, и крючки, и шпагат... Если не было охоты ловить бычков, рекомендовалось взять на час парусную лодку и выехать за волнорез, в сторону Ильи Пророка. Лодки стояли подряд, пришвартованные к набережной: «Ливадия» грека Кумиано, «Румелия» Ксенофонта, или наша любимая «Светлана» Вани Каторжанина.

Это не пустые воспоминания, — чебуреки очень трудно понять тому, кто не играл в ашики, кто не любил хурму и караимскую халву, и кто не считает бузу лучшим напитком в мире. Как могло случиться, что мне пришлось отведать чебуреки после тридцатилетнего перерыва не в погребке на Гюбенетовской, и не на Фонтанчике, против Генуэзской башни, а в Нью Йорке, в клубе русских маляров? Станный город Нью Йорк, и все может здесь случиться... Я знал, что встречу в клубе земляка Митю Апостола, знаменитого пловца и своего рода феодосийскую достопримечательность, — вроде памятника Айвазовскому. Весь город приходил к Яхт Клубу смотреть, как прыгает с вышки Митя, и как он с разгона делает «ласточку»... Он был маленький, худой, похож на грека... И пока я снимал пальто и думал о нем, кто-то сзади ударил меня по спине и сказал:

— Я же знал, что ты придешь... паразит!

За тридцать лет люди слегка меняются; я уже

не был мальчишкой, который гонял в большую перемену по гимназическому двору, и теперь призы за плаванье берет уже не Митя, а его дочь Машенька... Но чебуреки были те же, и когда я отложил в сторону вилку и нож, взял чебурек двумя руками, слегка запрокинул и выпил бульон, Митя прослезился, налил две рюмки и сказал:

— Выпьем, Андрюша, за черноморский флот!

Мы выпили, и потом проэкзаменовали друг друга. Да, пирожные у турка были самые лучшие в городе и стоили всего три копейки штука, и Митя вспомнил важную подробность, — как однажды Сонька Беззубая с Итальянской улицы съела на пари десять трубочек с кремом. Потом мы вспомнили, что барабульку жарят сразу по пять штук, в муке, так, чтобы хвосты были слипшиеся, все вместе. Поговорили о камсе, — соленой, жареной, тушеной и вареной. Помянули добрым словом гимназического надзирателя Бабая, который записывал нас в кондуит за поздние прогулки на волнорезе, городского сумасшедшего Хороза и многих других добрых людей.

Под конец, когда стало совсем грустно, я спросил:

— Митя, а что сейчас делает Мока Джумук?

— Сидит в баркасе, задрал штаны и держит ноги в воде, ответил без колебания Митя.

И я согласился, что Мока Джумук ничего дру-



гого делать не может, — он всю жизнь либо ходил по Итальянской, в своей тужурке вечного студента, либо сидел в баркасе, задрав штаны, ноги в воде... Впрочем, все это, вероятно, не интересно людям, которые не знают, «с чем» едят чебуреки. Мы ели их с воспоминаниями.

БАРТЫЖНИКИ

НА завтрак мне полагалось семь копеек, -- за эти деньги буфетчик отпуская котлету, бублик и стакан чаю. Но если ограничиться одним бубликом и чаем, на оставшиеся деньги можно было купить порядочный кусок халвы. В большую перемену, когда я только приступил к завтраку, ко мне подошел Коля Кокинаки.

Коля посмотрел на халву своими темными, оливковыми глазами, проглотил слюну и спросил:

— Я тебя халвой гасцал?

— Угощал...

— Давай откусить!

Этика требовала, чтобы я дал откусить, но поглядев на Колькину пасть, я слегка отодвинулся в сторону. Оливковые глаза сузились, Колька провел языком по высохшим губам и сделал шаг вперед. Нужно было действовать быстро, — либо скороговоркой сказать: «грек-пиндос на паре колес» и затем вступить в драку, либо немедленно идти на компромис. По некоторым соображениям, я выбрал последнее решение:

— Стоп травить! сказал я миролюбиво. Бери половину.

Кокинаки пренебрежительно взял кусок халвы, отправил его в рот и затем, уже совсем другим тоном, спросил:

— Андрюшка, пойдем завтра бартыжать?

Не знаю, откуда пошло это слово, — был ли это наш, крымский жаргон, или пришло оно из других мест России, но «бартыжать» означало — уйти тихонько из гимназии в порт, ловить бычков или забраться в горы, где созревал летом темно-красный, сочный и душистый кизил, и где на камнях, на солнцепеке, грелись ужи и проворные, серые ящерицы.

Мы сговорились на кизильнике, потому что в порту иногда прогуливался надзиратель Бабай, вылавливавший в неурочное время бартыжников, и вся затея могла кончиться воскресным заключением в карцер. На следующее утро, не доходя до ворот гимназии, мы свернули на Военную улицу, прошли мимо казарм, поднялись в горку к татарской слободке, и здесь купили хлеба, око помидор и жирную тарань. О фруктах мы не заботились, — по дороге было много баштанов и садов, которые днем не особенно охранялись. Впрочем, во время такой экспедиции, Колька уже получил однажды от татар-садоводов заряд крупной соли из дробовика, и потом дней десять не мог сидеть на парте. Заряд попал в самое неудобное место.

За слободкой пошли сады. Низкорослые деревья протягивали к нам через заборы свои ветви, ломившиеся от тяжести фруктов. Мы набрали полную фуражку белых черешен и два десятка полужелтых абрикосов, — спелые абрикосы с нашей точки зрения никуда не годились и не имели вкуса. Потом и сады кончились, начался подъем в гору, жесткая трава, серый колючий кустарник, камень.

Роса давно уже высохла, земля накалилась, необыкновенную тишину нарушало только пение цикад в кустах. Мы присели на камни и начали смотреть вниз, на древний гемузский город, который тогда казался нам самым красивым и удивительным городом в мире. Под нами белели греческие колонны музея Митридат, а от него галопом спускались к синему морю дома, тонувшие в зелени, — узкие, кривые улочки, колонады, фонтаны под тополями и полу-развалившиеся башни, — город наш строился тысячелетия, через него вечно проходили завоеватели, — татары, турки, греки-мореплаватели, искусные строители-гемузцы, и последними пришли русские. И каждый что-то оставил этому городу, — так создалось необыкновенное смешение стилей, народов, наречий.

Может быть, мальчишки, сидевшие на камне, и не очень думали в эту минуту о древней Кафе, — эти мысли пришли много позже, когда городок с гемузскими башнями стал сниться по ночам и перешел в область воспоминаний. Нас интересовал боль-

ше пароход, вышедший в это время из порта. Куда он пойдет, на Одессу, или на Новороссийск? Потом Кокинаки спросил, могу ли я доплыть от городских купален до волнореза, и похвастался, что он может. И когда я выразил сомнение, Колька сплюнул, поднял руку и торжественно поклялся:

— Накажи тебя Бог!

В общем, может быть, он и мог бы доплыть. Летом, если не было ветра, море было спокойное и какое-то разноцветное. Только у самого пляжа оно пенилось белыми гребнями прибоя, а дальше становилось изумрудное, потом вдруг его прорезывала темно-синяя широкая полоса, и уж совсем на горизонте, там, где небо сливалось с морем, все принимало бледную, молочную окраску.

— Смотри прямо, сказал я. Вон туда... Керчь увидишь!

Колька долго смотрел и потом разочарованно отвернулся:

— Нет, не увидишь. Сегодня за Дальними Камышами туман стоит. Нужно совсем ясную погоду...

По камню пробежала ящерица. Колька ловко накрыл ее рукой. Ящерица на мгновение замерла, взглянула на нас удивленными, изумрудными глазами, слегка рванулась вперед и исчезла в трещине. В руках у Кокинаки остался только ее отвалившийся хвост.

— Ничего, к концу лета у нее новый хвост вырастет, сказал мой товарищ.

Отдохнув, мы возобновили подъем. Деревьев больше не было, — здесь рос только сухой, колючий кустарник, да начал попадаться кизил, который мы в сыром виде презирали, — уж очень он был терпкий. Кизил сначала чистили при помощи специальной машинки, вынимали косточки, а потом варили варенье во дворе, в больших медных тазах, и мальчикам полагалась розовая пенка. Замечательное это было угощение, — теплая, пахучая пенка от кизилового или клубничного варенья, намазанная на ломоть черного хлеба! Варенье в доме готовили пудами, все лето, — до сих пор не могу понять, как его за зиму умудрялись съесть? Начинали в мае с белой черешни и вишни, потом поспедали клубника и земляника. В августе шло великое истребление черных, сладких слив, из которых варили повидло, а позднее осенью наступал черед терпкой айвы и румяных райских яблок, которые сначала развешивали пачками на дворе, и они дозревали на ленивом осеннем солнце.

Впрочем, это лирическое отступление к моему рассказу не имеет прямого отношения. Мысль о вареньи навел на меня вид кизиловых кустов и старик-татарин, которого мы тогда встретили. Он набрал две корзины кизила и легко, по молодому ступая в своих кожаных посталах, шел обратно в город. Татарин на минуту остановился, вытер со лба пот и спросил:

— Куда идешь? В Коктебель идешь?

Узнав, что мы просто гуляем, татарин улыбнулся, показал крепкие зубы и сказал:

— Гулять — хорошо. Иди наверх, кизил кушай. Здесь не кушай, наверху кушай. Самый лучший — наверху, как в Кизилташе... Колодец знаешь? Самый лучший вода, такой вода — Айвазовский не имел. Наверху колодец!

Он кивнул головой, взялся за свои корзины и двинулся под гору. А мы снова возобновили подъем, — солнце теперь палило немилосердно, перед глазами плыли круги, лица наши были в огне и мучительно хотелось поскорей добраться до колодца и напиться ледяной воды. Было уже часов одиннадцать, всего час до большой перемены.

— А ребята сейчас парятся на уроке латинского, мечтательно сказал Колька. Хайван ходит между партами и переводит: «Галлия разделена на три части, из которых одну населяют Белги, вторую Аквитанцы, а третью, которые на их собственном языке...».

И вдруг, переменив голос и сделав сердитый жест рукой, Колька сказал, имитируя учителя:

— Ну, ты, — переводи дальше... «а третью, которые на их собственном языке именуются Кельтами». Ну? Опять не выучил? Садись, дерево на дерево!

Хайван учился когда-то в Бурсе и жалел, что телесные наказания в средних учебных заведениях отменены, — на старости лет рассказы о том, как

пороли в Бурсе сделались его излюбленной темой. По правде говоря, он был совершенно искренне убежден, что преодолеть премудрость латинского языка без порки невозможно. И при всем, — мы поняли это только впоследствии, — был он самым добрым и порядочным человеком, — взятку не брал, спины ни перед кем не гнул, и когда меня выгнали из гимназии за плохое поведение, оказался единственным, который поставил мне хорошую и не вполне заслуженную отметку.

Чтобы облегчить подъем, мы начали петь. Голосов у нас не было, мы фальшивили, но все искусство заключалось в том, чтобы петь тягуче и заунывно, как пели эту песнь на татарской слободке.

В Крыму жила

В горы била

С Ахметом познакомилась я.

Ахмет был крымский проводник

Смуглый, ростом не велик.

Мы делали длинную паузу и затем, с бешеным азартом, выкрикивали:

Аднажды дном,

Аднажды дном,

Пришел Ахмет, сказал:

— Пайдом!

Дальше говорилось о том, как они «три года шли», попали в дымное ущелье и снова в песню врывался жалостливый, заунывный и тоскующий голос, начинавший молить:

Ой, Ахмет, душа ты мой
Проводи меня домой!..

Похождения Ахмета на этом месте оборвались, так как мы подошли к густой заросли кустов и услышали журчание воды, стекавшей вниз по камням. Здесь и был колодец о котором говорил татарин. Собственно, никакого колодца не существовало, а был горный источник, и яма, обложенная камнями. Яма до краев наполнялась ледяной, прозрачной водой, а излишки стекали вниз по ложбинке. Мы легли на животы, подобралась к самому краю, и громко, с наслаждением, начали лакать воду. Пили мы долго, пока от студеной воды не занули зубы, и под конец начали освежать лицо и голову. В этот момент за нами раздался негромкий, насмешливый голос:

— Вы что здесь, байстрюки, делаете?

Из заросли вышел рослый, рыжеватый парень в парусиновых штанах и синей, выцветшей рубашке. Глаза у парня были веселые и наглые, на роже — следы оспы. Мы обмерли, — это был Сенька Барданчик, бежавший на прошлой неделе из городской тюрьмы. Сенька минуту помолчал, явно наслаждаясь произведенным эффектом, а затем повторил свой вопрос:

— Вы что здесь, байстрюки, делаете?

— Мы бартыжаем, Сенька.

— Ага, вроде как: четыре сбоку, и ваших нет...
Коллеги-гимназисты, вы — курящие?

Пришлось со стыдом сознаться, что мы не курим и папирос не имеем. Сенька презрительно на нас посмотрел и уже более раздраженным голосом сказал:

— Ну, показывайте, что вам мамаша дала пошамать. Есть тут у меня один корешок с Карантина. Обещался принести папирос и шамовки, да не пришел. Выкладывайте, дангалаки.

Мы выложили тарань, помидоры, хлеб и абрикосы. Сенька поступил благородно: с треском разорвал тарань пополам, и одну половину отдал нам. Потом взял кусок хлеба, помидор и приступил к еде. Насытившись он спросил, что про него говорят в городе? Мы сообщили, что в газете напечатали о его побеге, и что хотя он был арестован по подозрению в убийстве лавочника с Карантина, публика очень довольна: одурачил полицию. Сенька стал серьезен:

— Насчет лавочника, — это, они, напрасно... Вместо того, чтобы меня ловить, — лучше бы они порасспросили людей. А я не лягавый, чтобы имена называть.

— Что же ты будешь делать, Бараданчик? спросил Коля. В Кизильнике долго не спрячешься. Кизил уже почти созрел, через несколько дней сюда сколько народу припрет...

На лице Сеньки опять появилось насмешливое выражение.

— Ну, уж я сховаюсь. Дельце у меня тут еще

одно осталось, а потом смотаю удочки, и бонжур-мусью... В Керчь уйду, а оттуда на Кубань, или в Одессу, — мне все дороги открыты! Только вот что, байстрюки, — вы теперь тут не задерживайтесь, я человечка одного поджидаю. Катитесь под горку, на легком катере. И, значит, держите язык за зубами. А то, накажи меня Бог, я вам головы посворачиваю. Чтоб ни одна душа в мире не знала! Поняли?

— Поняли...

— Побожитесь!

— Чтоб мы сдохли, Сеня.

— Ну, ладно... Тихий ход вперед! Пишите, кол-леги...

Мы пошли в город не тихим, а довольно быстрым ходом. Впрочем, спускаться было легко, только ноги иногда скользили на траве, да сыпался мелкий камень. Вернулись мы домой взволнованные, усталые. О Бараданчике, конечно, никому не рассказали, хотя соблазн был велик...

В общем, слово мы сдержали и лягавыми не стали.

Если я теперь решил рассказать об этой встрече, то только потому, что самого Сеньки Бараданчика давно нет в живых. Он отличился во время гражданской войны, был взят в плен белыми и расстрелян где-то в Крыму, в девятнадцатом году.

ХАЙТАРМА

В сентябре, когда кончили сбор винограда, на двор пришел старик Кирым. Сдвинул на затылок лоснящуюся смушковую шапку, которую носил зимой и летом, широко улыбнулся и сказал:

— После Байрам-Курбана приходи к нам в гости. Будем сына женить на девушке. Три дня гулять будем, большой чалы*) устроим. Жена просит, сын просит — приходи хайтарму танцевать.

Неужели Мамут женится? Были мы однолетки и друзья, вместе купались и совершали набеги на фруктовые сады. Было это все вчера, — мальчишки, и вдруг женится Мамут, заведет семью, хозяйство, станет серьезным татаринном!

Осень была сухая, безветренная, — только небо стало особенно глубоким и синим и ночи — черные, многозвездные, как бывают у нас в Крыму. По ночам с татарской слободки доносился шум — тридцатидневный пост подходил к концу. До утра жители

*) Гульба, праздник.

слободки ели, пили, развлекались. Прошел Байрам Курбан, наступил день свадьбы.

С утра на дворе Кирима суетились. Со всей слободки женщины тащили приготовленные дома блюда, накрытые чистыми, вышитыми полотенцами. Пахло свежее выпеченными лепешками, курдючным салом, острыми пряностями. Мужчины рано ушли в баню, крепко попарились и вернулись в чистых рубашках и праздничных бешметах. Но самый лучший бешмет был на Мамуте, — черный, с позументами, — его привезла невеста в подарок вместе с поясом угкурром и новой шапкой из лучших отборных смушек. Мужчины одобрительно смотрели на бешмет и хвалили, — должно быть делал его важный карасубазарский мастер.

Часа в три заиграла музыка и начали собираться приглашенные. Во двор входили мужчины, — женщины отправлялись прямо на свою половину, а детишки наблюдали за торжеством с улицы, через забор. Дома у татар маленькие, и в летнее время люди живут больше на дворах или на улице, так что столы расставили под открытым небом, а внутрь вошли только почетные гости. Очень я был доволен, когда Кирим предложил и мне войти внутрь, — должно быть хотел этим почтить мою старую дружбу с его сыном.

У татар в домах всегда очень чисто, а к свадьбе особенно прибрались. Набело выкрасили стены, утрамбованный глиняный пол накрыли свежими цы-

новками, низкий потолок украсили вышитыми тканями, а диванчики вдоль стен коврами. У одной стены были выставлены два сундука с приданым невесты, и тут же лежали ее перины и подушки. Все подходили, смотрели на приданое, трогали руками подушки из лебяжьего пуха и хвалили, — очень хорошие вещи дали за невестой.

Потом все расселись, старые женщины внесли круглые, низкие столики, тазики и медные кувшины, дали нам вымыть руки, и началось пиршество. Много лет прошло с тех пор, на многих бывал я свадьбах, но никогда не ел таких вещей, как у Кирима. Ели много часов подряд, сменялось бесчисленное количество блюд, и что это были за блюда! Начали с татарского супа с фасолью, потом подали молодого барашка с зеленым луком, баклажанами и помидорами, пилав из курицы и риса, фаршированный перец, а когда уж нельзя было дышать, прямо с огня сочные чебуреки, хорошо подрумяненные, с пупырышками на корочке. Вина у татар не полагалось. Запивали мы еду ледяной и крепкой бузой и бекмесом, сладким перебродившим фруктовым соком.

Мамут сидел в своем узком бешмете на почетном месте, как истукан, не двигаясь, и хоть буза и начинала бить в голову гостям, разговор шел серьезный, — не было в нем обычной свадебной игривости. Сосед мой, богатый садовод, хорошо говорил по русски и от него я узнал, что он сосватал Мамута и Сарыч, — так звали невесту. Привезли ее в дом жениха

накануне, она из деревни Куру Узень, — знаешь такую, около Алушты?

— Почему не знаешь? — удивлялся татарин. В Алуште бывал? На водопад Джур Джур ходил? За водопадом долина открывается, — везде сады, деревья растут, а на самом берегу моря и есть это место Куру Узень. Тебе каждый чабан*) дорогу покажет... Из хорошей семьи Сарыч, ой, хорошая семья! Отец баштаны имеет, у него всегда первые дыни поспевают. Одна беда, воды мало, быстро стекает... Воды мало, солнца много, дыни сладкие, душистые. Я сказал: «Отдай Сарыч за Мамута, хороший человек, хорошо жить будут!» Отец подумал, немного порасспросил, кто и что, и ответил: «Скажи Кириму — пусть сына привезет, смотреть будем». Два дня смотрели, много гуляли, хорошо угощали. Кирим подарки привез, по нашему — калым, выкуп называется. — Очень был старик доволен — по рукам ударили...

Конец истории я не дослушал, так как подошла хозяйка и поставила поднос со сладкими лепешками с ореховой халвой, душистым рахат-лукумом и шербетом из груш. Потом начали разливать крепчайшее, ароматное кофе, — глоток кофе, и уже гуца, а потом глоток ледяной воды... Наконец, можно было выйти на воздух, посмотреть, что делается во дворе.

А там уже танцевали хайтарму. Танцевали

*) Пастух.

только мужчины — выстраивались в кружок, по шесть, по восемь человек и медленно кружились с каменными, неподвижными лицами, притоптывая ногами и прищелкивая пальцами в такт. Как пела скрипка! Тоскливо, бесконечно, без начала и конца повторяя один и тот же восточный мотив... Два других музыканта вторили скрипачу, один монотонно бил то в барабан, то в бубны, а другой играл на «саазе» — татарской мандолине с длинным грифом. Играли только хайтарму, играли без усталости, в круг вступали новые танцоры, и скрипач вдруг менял темп и с протяжного, высокого звука, внезапно сходил на веселый, плясовой ритм, и тогда быстрее притоптывали ноги и особенно гулко бил бубен.

Кончился день, давно уже наступила теплая, осенняя ночь, а хайтарма все продолжалась, и каждый прохожий, считавший себя другом дома входил во двор, чтобы съесть кусок баранины, выпить стакан бузы и посмотреть, как веселятся люди. Около полуночи вышел подышать воздухом Мамут, — он был усталый, какой то печальный. Мы отошли под большое ореховое дерево, там было почти темно. Сели на колоду, помолчали, глядя на звездное небо, и потом я спросил, счастлив ли он?

— Чудак человек, — ответил Мамут. Откуда я знаю?..

— Да ведь ты любишь Сарыч?

— Такой большой и такой дурной вырос... Можешь ты любить незнакомого человека? Мне Сарыч

всего один раз показали, когда мы с отцом свататься ездили. Привели девушку, — смотрю, ничего не вижу! Маленькая такая в бешмете, а лицо чадра закрывает, — только и вижу глаза синие. Откуда у татарки — глаза синие? Это мне понравилось, и сразу я ее про себя назвал «Коккоз», по нашему значит голубой глаз. — Рассматривать очень тоже не полагается — не лошадь покупаешь! Вижу, из под шапочки — косичек много, туго заплетены, волосы хной крашены, как полагается, и пальцы — тоже. Поклонилась она Кериму и мне, принесла гостям кофе и вышла. Потом я тоже вышел, — старики между собой насчет всего и договорились.

— И больше ты ее не видел?

— Вчера видел, когда приехала. Сразу ее к женщинам отвели, а потом позволили со мной во дворе посидеть. Вот тут мы и сидели. Она чадру сняла, лицо показала. Красивая. За руку взял, только глазами в меня метнула, опять чадру надела.

Я слушал моего друга и не верил своим ушам: что за азиатчина! Росли мы вместе, учились в русской гимназии, сидели на одной парте и то, что Мамут был татарин, как то забывалось, думали и чувствовали мы одинаково. И вдруг, в самом важном жизненном вопросе оказалось, что мой Мамут — настоящий татарин, будущую свою жену он никогда раньше не видал, едва обменялся с ней несколькими словами, и даже «калым» за нее заплатил!

— Послушай, Мамут, как же вы жить будете?

А вдруг не полюбите друг друга? Что тогда делать? — У нас все старики решают, — усмехнулся Мамут. Вот эти самые вопросы я Кириму задал. А он все цитатами из Корана отвечает. Понимаешь, — ни единый волос не падет без воли Аллаха. — Значит, Сарыч — хочешь не хочешь, должна быть счастлива. А мое счастье? Отец говорит: «Не будь ишаком, будешь счастливый! Меня так женили, и отца моего так женили, — хорошо жили»... Трудно нам понять друг друга: я ему человеческими словами говорю, а он мне цитатами из Корана отвечает.

Опять мы долго молчали, прислушиваясь к музыке. Каждый думал о своем. Наконец, Мамут снова заговорил:

— Я тебе на вопрос не ответил: что будет, если не слюбимся? Плохо будет, стыдно. Если совсем невтерпеж, — посажу Сарыч на линейку, погружу ее сундуки, перины и подушки. Отвезу к отцу, а сам уйду отсюда. Может быть на север уеду, в Россию, или в Турцию поддамся — там много наших татар. Меня недавно знакомый турок с собой звал, он на фелюге из Константинополя пришел.

Станный это был разговор, совсем не свадебный, — печальные поминки по свободной, холостяцкой жизни. Очень мы боялись тогда нашего будущего. Было такое чувство, какое охватывает пловца на мостике, перед прыжком в холодную воду. На мгновение замуриваешь глаза, напрягаешь мускулы и всем телом испытываешь нелепый и не-

объяснимый страх: ведь хочется прыгнуть, и знаешь, что сейчас, через мгновение, все равно прыгнешь, а страшно.

Мы медленно пошли к дому. Была поздняя ночь, на узкой, извилистой улочке татарской слободки оставалось уже мало народу, и танцы прекратились. Но музыка все еще продолжала играть, — теперь музыканты играли что то особенно заунывное и жалостливое, скрипка плакала и надрывала душу. Прощаясь с Мамутом я взглянул в сторону женской половины дома: в окнах был свет, двигались какие то неясные фигуры, и одна из них была Коккоз, маленькая татарка с синими глазами.

Вскоре я уехал из города и вернулся только два года спустя, в разгар гражданской войны, на крыше сыпнотифозного вагона. Через несколько дней в порту я встретил Кирима. Он постарел, лицо его стало цвета дубленой кожи и под глазами появилась сеть мелких морщин. Я спросил, как Мамут?

— Мамут хорош, — ответил старик. Хорошо живет, около Отуз. Дом имеет, земли три десятины, табак разводит. Алта-табак, самый лучший сорт, лучше турецкого...

— А жена его?

— Сарыч? — пренебрежительно спросил Кирим. Что с ней станет? Женщина, как женщина... Второго ребенка ждет. У нас в Коране сказано: «Рай женщины — под пятой у мужчины».

“ГИДРА”, КЕРЧЬ

ГИДРА грузилась в Варне третий день. Под вечер подвезли на подводе провизию, — целую тушу быка, ящики с томатами, качкавал, хлеб. Запаслись водой и стали ждать приказа об отплытии. Погода была жаркая, ветреная. С плоского болгарского берега несло тучи песку и над городским садом «Морской Градиной», где по вечерам мы гуляли гурьбой и покупали «свежи, пресни кифли», стояло желтовато-розовое облако пыли.

Сначала сошлись на корме палубные. Потом из кочегарки вылез Костя, потный, грязный, в заплатанных парусиновых штанах, никогда не стиранных, насквозь пропитанных машинным маслом и угольной пылью. Разговоры шли обыкновенные, — такие, как всегда, с той только разницей, что перед плаваньем больше интересовались погодой, расстоянием до Констанцы и рассказами грузного, тяжелого боцмана, который побывал во всех морях и ко всему виденному относился крайне презрительно:

— Мелкий народ, говорил он одинаково и о французах, и о китайцах, и о румынах. Опять же —

такой жирной сельди, как у нас в Керчи, встречать не приходилось.

Боцман бывал в Румынии, куда мы теперь должны были уйти, ходил на торговых судах в Кюстандже, и теперь неохотно и скупно рассказывал новичкам о прибрежных полях, засеянных кукурузой, о русских рыбаках-скопцах под Добруджей, о румынских женщинах и многом другом. Боцман всю свою жизнь прожил на борту и весь мир знал только по портам и береговым кабакам. В Керчи оставил он немолодую жену. Боцман видел ее раза два-три в год, когда судно шло в Крым, за сельдью. Дома оставался он недолго и снова уходил в море, в очередной рейс. В каждом порту были у него приятели, и он заранее нас предупреждал:

— В Константинополь придем, — первым делом в турецкую баньку сведу вас. Вроде как наша, паровая, — только веника не проси, не понимают. Заместо этого ихний банщик тебе руки и ноги выворачивает и на спину коленкой нажимает. А потом поведу я вас, братцы, до одного приятеля-грека. Держит он в Галате ресторан. Дузику выпьем, закусим перцем и маслинами, а потом по порции шашлыка. Мелкий народ, а баня и шашлык у них подходящие...

На закате просвистали сбор. С капитанского мостика помощник закричал:

— Отдай концы!

По второму свистку матросы с кормы разбежа-

лись по местам, в разные стороны. Тянули сходни, подбирали мокрый, тяжелый и скользкий канат. Потом из трубы загудело тонко и протяжно, низко рывкнуло, и за кормой заklubилась зеленовато-белая пена.

«Гидра» задрожала всем своим корпусом, дала задний ход, и разом поплыла куда-то вбок пристань, на которой собрались мальчишки, чистильщики сапог. Прошли амбары, волнорез. Стал приближаться белый, высокий маяк.

**
*

В девять вечера кочегарка сменялась. На палубе снова вылез Костя, мокрый, потный, окунулся с головой в бак с холодной водой и вприпрыжку побежал по палубе — как был — голый — одеваться. Вслед кочегару кто-то кричал озлобленно с капитанского мостика:

— Бегаешь, сукин сын, голый! — и обкладывал его сочно: в печенки и селезенки. В кубрике Костя мял полотенце, ожесточенно растирал себе грудь и бормотал с идиотским видом:

— Кричи, кричи, глотка казенная... Которые на мостике видом развлекаются, белые кителя носят, а ты сиди под машиной в угле и в г...

Потом вдруг успокоился, взял гармонь и пошел на корму играть свой любимый марш «Прощай».

Ужинали в море пораньше, — в шестом часу.

Кухарка Анисья, единственная женщина на судне, кричала:

— Вахтейный, иди, что-ли!

— Есть, вахтейный! За шамовкой, готовь!

Вахтенный скрывался на кухне и минуту спустя появлялся с глубокой лоханью дымившегося борща. В лохани плавали жирные куски мяса — ровно по числу обедающих. Команда рассаживалась неподалеку от кубрика, вокруг стола. Сначала молча выхлебывали борщ. Потом боцман своим перочинным ножом, отточенным как бритва, делил мясо. Мясо ели просто, руками, тыкая его в горку крупной соли.

За столом говорили совсем мало: ели серьезно, сосредоточенно. Иногда прорывалось, кто-нибудь принимался за матерщину, и тогда рулевой Голубев, человек тихий и набожный, укоризненно поднимал глаза и говорил:

— Совести нет. Люди хлеб едят, а ты что говоришь? Ты, братишка, как ребенок малый, или стервец какой. Страх Божьего не имеешь!

Голубева слушались, уважали его, но почему-то потихоньку все же над ним посмеивались. Уж очень он был человек тихий и аккуратный. Всякий раз, придя в новый порт, рулевой тщательно брился, вынимал из сундучка синий, слегка помятый от долгого лежания костюм и уходил в город, на прогулку. Возвращался на судно всегда раньше других, трезвый, очень довольный, передевался в кубрике и

потом любил обстоятельно рассказывать, что видел на берегу и с какими людьми познакомился.

Случилось как-то, обидели Анисью, жестоко посмеялись над женской ее слабостью. Была она единственной бабой на судне и много приходилось ей терпеть. Вечером на кухне плакала Анисья, злобно гроыхала кастрюлями, чертыхалась, и Голубев утешал ее, говорил ровным, спокойным голосом:

— А ты, бабочка, не плачь. Плюнь, да и все... Они парни глупые, бугаи молодые. У них сила мужская, непочатая... А ты и виду не показывай, что они обидели тебя. Вот им и совестно будет перед людьми.

Сначала в кубрике косились на Голубева, а потом обтерлись, привыкли. Ничего, приятный человек рулевой. Жить можно.

**
*

По хорошей погоде делали двенадцать узлов. Но тут до Констанцы шли двое суток. Мешала баржа на буксире, груженная лесом, и было плохое море.

— Полундра, держись!

Шла полундра белая, мохнатая, свирепо била в борт, окатывала с головы до ног и потом рассыпалась пеной по мокрой и скользкой палубе, все перепутывая и переворачивая на своем пути. Шла от румынского берега крутая волна. «Гидра» давала

крену и суденышко наше бросало в разные стороны, как ореховую скорлупу.

— На плоскодонке плывем, ребята, накажи меня Бог, жаловался Костя. Зараз потонем, и ваших нет!

Ночью, в темноте, подошли к Констанце.

— Стоп машина! кричал голос с мостика.

— Есть стоп машина!

Танцует на волне «Гидра». Танцуют на горизонте огни Констанцы, вспыхивают и гаснут на далеком маяке зеленые и красные сигналы.

Красивый город Констанца, особенно с моря. Берег в зелени, видно казино, широкие бульвары. Утром спустили шлюпку. Капитан уехал к портовым властям, захватив с собой тщательно упакованную корзину с крымским вином. К вечеру часть команды тоже ушла на берег. Остальные прибрали судно, помылись, почистились. На корме, под брезентом, ели арбуз с хлебом, побросали корки в воду и улеглись спать. Стало тихо, только где-то на берегу протяжно и отчаянно свистел паровоз. Спали до ужина, пока не зашло солнце.

Ночью вышло мне стоять на вахте. Хожу вдоль борта, смотрю на огни далекого города. Из темноты доносится тихий разговор:

— И всем бы нам по этому случаю пришлось бы погибать, — потому что темно совершенно и большая волна, а до берега, до косы, считай восемь верст... Только, понимаешь, час спустя подходит

спасательный катер, ищет нас, сирена гудит. А были которые уже голоса подать не могли, либо далеко заплыли... Так, которых повытаскивали, а другие потопли, — четыре человека, и мальчонка, помощник кока. И лежали, мы, понимаешь, в гошпитале, хорошо лежали, только скучно было. А воды этой, самой, между прочим, наглотались порядком. Сильно через нее брюхо раздуло. Когда вытащили, думал — помру, а оказалось — пустяки. Через три недели опять в море ушел. Так-то, братуха, такие дела бывают...

Рассказчик помолчал. Потом две темные фигуры поднялись и лениво пошли к кубрику, — спать.



Скучно стоять на вахте. Прохожу вокруг судна, все спокойно. Потом с кормы кричу на баржу, подаю голос вахтенному.

— Василий, который час?

— Сиди, леший, уже умаялся! Успеешь выдыхаться, душу твою!..

Снова тишина.

Заглядываю в кубрик. Там в потолке горит электрическая желтая лампочка, плохо горит. В полумраке видны восемнадцать грязных, деревянных коек, и только на четырех лежат полуголые люди, в ситцевых кальсонах, без рубаш. Душно здесь, плохой, тяжкий воздух... На койках во сне ворочаются чело-

веческие тела, моряки бормочут что-то невнятное, раскидываются широко, давят с просонья жирных клопов, которых изредка травят паром... Тяжело и густо храпит за перегородкой боцман, не пожелавший почему-то съехать на берег, — верно потому, что не любит румын и всех их считает жуликами... Скучно!

В час ночи с берега доносятся пьяные голоса и крики старшего механика и помощника:

— Вахтенный! Давай шлюпку! Вахтенный! Спишь, сволочь проклятая!

Шлюпка идет к берегу. От весел, далеко позади, расходятся круги, играющие в лунном свете. На берегу моряки бушуют и пьяно кричат:

— Веселей, вахтенный! Наддай ходу!

Светит большая луна. Мне восемнадцать лет, я читаю стихи и хочу плакать от одиночества.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	<i>Стр.</i>
Предисловие Ив. Бунина	5

I

Звездочеты с Босфора	11
Человек, который хотел умереть	24
Пашино счастье	35
Незабвенный друг	46
Сосед с версальского авеню	55
Мой легионер	61
Марсик	71
Наследники Майка	78
Миссис Катя Джэксон	
Локон Наполеона	98

II

Крымские рассказы

Арбузы	104
Парад, Аллэ!	113
Чебуреки	125
Бартыжники	132
Хайтарма	142
Гидра, Керчь	150



**Printed in U.S.A.
WALDON PRESS, Inc.
216 West 18th Street
New York, N.Y. 10011
Phone: (212) 691-9220**

СКЛАД ИЗДАНИЯ

Новое Русское Слово

243 West 56th Street, New York City, N. Y. 10019